
ИОСИФ
БРОДСКИЙ
Разговор
с небожителем
АЗБУКА-КЛАССИКА

Иосиф Александрович
БРОДСКИЙ
1940 — 1996



Иосиф
БРОДСКИЙ

Разговор с небожителем

Стихотворения
Поэмы



Санкт-Петербург
Издательство «Азбука-классика»
2007

УДК 82/89
ББК 84.7 США
Б 88

Текст печатается по изданию:
Сочинения Иосифа Бродского. СПб.:
Пушкинский фонд, 1998. Т. 1—4.

В оформлении обложки использован
автопортрет Иосифа Бродского 1964 г.

Издательство благодарит
Фонд Наследственного Имущества Иосифа Бродского
за содействие в осуществлении настоящего издания.

Бродский И.
Б 88 Разговор с небожителем: Стихотворения, поэмы. — СПб.: Азбука-классика, 2007. — 448 с.
ISBN 5-352-00012-5

В настоящий сборник вошли «большие стихотворения» (жанр, созданный самим автором) и поэмы величайшего поэта XX столетия, Нобелевского лауреата И. Бродского.

ISBN 5-352-00012-5

ГОСТЬ

(Поэма)

Глава 1

Друзья мои, ко мне на этот раз.
Вот улица с осенними дворцами,
но не асфальт, покрытая торцами,
друзья мои, вот улица для вас.

Здесь бедные любовники, легки,
под вечер в парикмахерских толпятся,
и сигареты белые дымятся,
и белые дрожат воротники.

Вот книжный магазин, но небогат
любовью, путешествием, стихами,
и на балконах звякают стаканы,
и занавеси тихо шелестят.

Я обращаюсь в слух, я обращаюсь в слух,
вот возгласы и платьев шум нарядный,
как эти звуки родины приятны
и коротко желание услуг.

Все жизнь не та, все, кажется, на сердце
лежит иной, несовременный груз,
и все волнует маленькую грудь
в малиновой рубашке фарисейства.

Зачем же так. Стихи мои — добрей.
Скорей от этой ругани подстрочной.

Вот фонари, под вывеской молочной
коричневые крылышки дверей.

Вот улица, вот улица, не редкость —
одним концом в коричневую мглу,
и рядом детство плачет на углу,
а мимо все проносится троллейбус.

Когда-нибудь, со временем, пойму,
что тоньше, поучительнее даже,
что проще и значительней пейзажа
не скажет время сердцу моему.

Но до сих пор обильностью врагов
меня портрет все более заботит.
И вот теперь по улице проходит
шагами быстрыми любовь.

Не мне спешить, не мне бежать вослед
и на дорогу сталкивать другого
и жить не так. Но возглас ранних лет
опять летит. — Простите, ради Бога.

Постойте же. Вдали Литейный мост.
Вы сами видите — он крыльями разводит.
Постойте же. Ко мне приходит гость,
из будущего времени приходит.

Глава 2

Теперь покурим белых сигарет,
друзья мои, и пиджаки наденем,
и комнату на семь частей поделим,
и каждому достанется портрет.

Да, каждому портрет. Друзья, уместно ль
заметить вам, вы знаете, друзья,
приятеля теперь имею я...
Вот комната моя. Из переездов

всегда сюда. Родители, семья,
а дым отечественный запах не меняет.
...Приятель чем-то вас напоминает...
Друзья мои, вот комната моя.

Здесь родина. Здесь — будто без прикрас,
здесь — прошлым днем, и нынешним театром,
но завтрашний мой день не здесь. О, завтра,
друзья мои, вот комната для вас.

Вот комната любви, диван, балкон,
а вот мой стол — вот комната искусства.
А по торцам грузовики трясутся
вдоль вывесок и розовых погон

пехотного училища. Приятель
идет ко мне по улице моей.
Вот комната, не знавшая детей,
вот комната родительских кроватей.

А что о ней сказать? Не чувствую ее,
не чувствую, могу лишь перечислить.
Вы знаете... Ах нет... Здесь очень чисто,
все это мать, старания ее.

Вы знаете, ко мне... Ах, не о том,
о комнате с приятелем, с которым...
А вот отец, когда он был майором,
фотографом он сделался потом.

Друзья мои, вот улица и дверь
в мой красный дом, вот шорох листьев мелких
на площади, где дерево и церковь
для тех, кто верит Господу теперь.

Друзья мои, вы знаете, дела.
Друзья мои, вы ставите стаканы,
друзья мои, вы знаете — пора,
друзья мои с недолгими стихами.

Друзья мои, вы знаете, как странно...
Друзья мои, ваш путь обратно прост.
Друзья мои, вот гасятся рекламы.

Вы знаете, ко мне приходит гость.

Глава 3

По улице, по улице, свистя,
заглядывая в маленькие окна,
и уличные голуби летят
и клювами колотятся о стекла.

Как шепоты, как шелесты грехов,
как занавес, как штора, одинаков,
как посвист ножниц, музыка шагов,
и улица, как белая бумага.

То Гаммельн или снова Петербург,
чтоб адресом опять не ошибиться
и за углом почувствовать испуг,
но за углом висит самоубийца.

Ко мне приходит гость, ко мне приходит гость.
Гость лестницы единственной на свете,
гость совершенных дел и маленьких знакомств,
гость юности и злобного бессмертья.

Гость белой нищеты и белых сигарет.
Гость юмора и шуток непоместных.
Гость неотложных горестных карет,
вечерних и полуночных арестов.

Гость озера обид — сих маленьких морей.
Единый гость и цели и движенья.
Гость памяти моей, поэзии моей,
великий Гость побед и униженья.

Будь гостем, Гость. Я созову друзей
(пускай они возвеселятся тоже), —
веселых победительных гостей
и на Тебя до ужаса похожих.

Вот вам приятель — Гость. Вот вам приятель —
ложь.
Все та же пара рук. Все та же пара глаз.
Не завсегдатай — Гость, но так на вас похож,
и только имя у него — Отказ.

Смотрите на него. Разводятся мосты,
ракеты, киноленты, переломы...
Любите же его. Он — менее чем стих,
но — более чем проповеди злобы.

Любите же его. Чем станет человек,
когда его столетие возвысит,

когда его возьмет двадцатый век —
век маленькой стрельбы и страшных мыслей?

Любите же его. Он напрягает мозг
и новым взглядом комнату обводит...

...Прощай, мой Гость. К тебе приходит Гость.
Приходит Гость. Гость Времени приходит.

май 1961
Ленинград

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РОМАН

(Поэма в трех частях)

Часть I. УТРО И ВЕЧЕР

Глава 1

Анатолию Найману

Забудь себя и ненадолго
кирпич облупленных казарм,
когда поедешь втихомолку
на Николаевский вокзал,

когда немногое отринешь,
скользя в машине вдоль реки,
смотри в блестящие витрины
на голубые пиджаки.

Но много сломанных иголок
на платье времени сгубя,
хотя бы собственных знакомых
любить, как самого себя.

Ну, вот и хлеб для аналогий,
пока в такси рюкзак и ты.
Храни вас Боже, Анатолий,
значок короткой суеты

воткните в узкую петлицу,
и посреди зеркальных рам

скользить к ногам, склоняться к лицам
и все любить по вечерам.

Глава 2

Разъезжей улицы развязность,
торцы, прилавки, кутерьма,
ее купеческая праздность,
ее доходные дома.

А все равно тебе приятно,
друзей стрельбы переживя,
на полстолетия обратно
сюда перевезти себя,

и головою поумневшей,
не замечающей меня,
склонись до смерти перед спешкой
и злобой нынешнего дня.

Скорее с Лиговки на Невский,
где магазины через дверь,
где так легко с Комиссаржевской
ты разминулся бы теперь.

Всего страшней для человека
стоять с поникшей головой
и ждать автобуса и века
на опустевшей мостовой.

Глава 3
(письмо)

Как вдоль коричневой казармы,
в решетку темную гляжу,

когда на узкие каналы
из тех парадных выхожу,

как все равны тебе делами,
чугун ограды не нужней,
но все понятней вечерами
и все страшней, и все страшней.

Любимый мой, куда я денусь,
но говорю — живи, живи,
живи все так и нашу бедность
стирай с земли, как пот любви.

Пойми, пойми, что все мешает,
что век кричит и нет мне сил,
когда столетье разобщает,
хотя б все менее просил.

Храни тебя, любимый, Боже,
вернись когда-нибудь домой,
жалей себя все больше, больше,
любимый мой, любимый мой.

Глава 4

Я уезжаю, уезжаю,
опять мы дурно говорим,
опять упасть себе мешаю
пред чешским именем твоим,

благословляй громадный поезд,
великих тамбуров окно,
в котором, вылезши по пояс,
кричит буфетное вино,

о, чьи улыбки на колени
встают в нагревшихся купе,
и горький грохот удаленья
опять мерещится судьбе.

Людмила, Боже мой, как странно,
что вечной полевой порой,
из петербургского романа
уже несчастливый герой,

любовник брошенный, небрежный,
но прежний, Господи, на вид,
я плачу где-то на Разъезжей,
а рядом Лиговка шумит.

Глава 5

Моста Литейного склоненность,
ремонт троллейбусных путей,
круженье набережных сонных,
как склонность набожных людей

твердить одну и ту же фразу,
таков ли шум ночной Невы,
гонимой льдинами на Пасху
меж Малоохтенской травы,

когда, склонясь через ограду,
глядит в нее худой апрель,
блестит вода, и вечно рядом
плывет мертвец Мазереель,

и, как всегда в двадцатом веке,
звучит далекая стрельба,

и где-то ловит человека
его безумная судьба,

там, за рекой среди деревьев,
все плещет память о гранит,
шумит Нева и льдины вертит
и тяжко души леденит.

Глава 6

Е. В.

Прощай, Васильевский опрятный,
огни полночные туши,
гони троллейбусы обратно
и новых юношей страши,

дохнув в уверенную юность
водой, обилием больниц,
безумной правильностью улиц,
безумной каменностью лиц.

Прощай, не стоит возвращаться,
найдя в замужестве одно —
навек на острове остаться
среди заводов и кино.

И гости машут пиджаками
далеко за полночь в дверях,
легко мы стали чужаками,
друзей меж линий растеряв.

Мосты за мною поднимая,
в толпе фаллических столбов
прощай, любовь моя немая,
моя знакомая — любовь.

Глава 7

Меж Пестеля и Маяковской
стоит шестиэтажный дом.
Когда-то юный Мережковский
и Гиппиус прожили в нем

два года этого столетья.
Теперь на третьем этаже
живет герой, и время вертит
свой циферблат в его душе.

Когда в Москве в петлицу воткнут
и в площадей неловкий толк
на полстолетия изогнут
Лубянки каменный цветок,

а Петербург средины века,
адмиралтейскому кусту
послав привет, с Дзержинской съехал
почти к Литейному мосту,

и по Гороховой троллейбус
не привезет уже к судьбе.
Литейный, бежевая крепость,
подъезд четвертый кгб.

Главы 8—9

Окно вдоль неба в переплетах,
между шагами тишина,
железной сеткою пролетов
ступень бетонная сильна.

Меж ваших тайн, меж узких дырок
на ваших лицах, господа,
(from time to time, my sweet, my dear,
I left your heaven), иногда

как будто крылышки Дедала
всё машут ваши голоса,
по временам я покидала,
мой милый, ваши небеса,

уже российская пристрастность
на ваши трудные дела —
хвала тебе, госбезопасность,
людскому разуму хула.

По этим лестницам меж комнат,
свое столетие терпя,
о только помнить, только помнить
не эти комнаты — себя.

Но там неловкая природа,
твои великие корма,
твои дома, как терема,
и в слугах ходит полнарода.

Не то страшит меня, что в полночь,
героя в полночь увезут,
что миром правит сволочь, сволочь.
Но сходит жизнь в неправый суд,

в тоску, в смятение, в ракеты,
в починку маленьких пружин
и оставляет человека
на новой улице чужим.

Нельзя мне более. В романе
не я, а город мой герой,
так человек в зеркальной раме
стоит вечернею порой

и оправляет ворот смятый,
скользит ладонью вдоль седин
и едет в маленький театр,
где будет сызнова один.

Глава 10

Не так приятны перемены,
как наши хлопоты при них,
знакомых круглые колени
и возникающий на миг

короткий запах злого смысла
твоих обыденных забот,
и стрелки крутятся не быстро,
и время делает аборт

любовям к ближнему, любовям
к самим себе, твердя: терпи,
кричи теперь, покуда больно,
потом кого-нибудь люби.

Да. Перемены все же мука,
но вся награда за труды,
когда под сердцем Петербурга
такие вырастут плоды,

как наши собранные жизни,
и в этом брошенном дому
все угасающие мысли
к себе все ближе самому.

Часть II. ВРЕМЕНА ГОДА

Глава 11

Хлопки сентябрьских парадных,
свеченье мокрых фонарей.
Смотри: осенние утраты
даров осенних тяжелей.

И льется свет по переулкам,
и палец родственной души
все пишет в воздухе фигуры,
полуодевшие плащи,

висит над скомканным газоном
в обрывках утренних газет
вся жизнь, не более сезона,
и дождь шумит тебе в ответ:

не стоит сна, не стоит скуки,
по капле света и тепла
лови, лови в пустые руки
и в сутки совершай дела,

из незнакомой подворотни,
прижавшись к цинковой трубе,
смотри на мокрое барокко
и снова думай о себе.

Глава 12

На всем, на всем лежит поспешность
на тарахтящих башмаках,

на недоверчивых усмешках,
на полуискренних стихах.

Увы, на искренних. В разрывах
все чаще кажутся милы
любви и злости торопливой
непоправимые дары.

Так все хвала тебе, поспешность,
суди, не спрашивай, губи,
когда почувствуешь уместность
самоуверенной любви,

самоуверенной печали,
улыбок, брошенных вослед, —
несвоевременной печати
неоткровенных наших лет,

но раз в году умолкший голос
негромко выкрикнет — пиши,
по временам сквозь горький холод,
живя по-прежнему, спеши.

Глава 13

Уходишь осенью обратно,
шумит река вослед, вослед,
мерцанье желтое парадных
и в них шаги минувших лет.

Наверх по лестнице непрочной,
звонок и после тишина,
войди в квартиру, этой ночью
увидишь реку из окна.

Поймешь, быть может, на мгновенье
густую штору теребя,
во тьме великое стремленье
нести куда-нибудь себя,

где двести лет, не уставая,
все плачет хор океанид,
за все мосты над островами,
за их васильевский гранит,

и перед этою стеною
себя на крике оборви
и повернись к окну спиною,
и ненадолго оживи.

Глава 14

О, Петербург, средины века
все будто минули давно,
но, озаряя посвист ветра,
о, Петербург, мое окно

горит уже четыре ночи,
четыре года говорит,
письмом четырнадцатой почты
в главе тринадцатой горит.

О, Петербург, твои карманы
и белизна твоих манжет,
романы в письмах не романы,
но только в подписи сюжет,

но только уровень погоста
с рекой на Волковом горбе,

но только зимние знакомства
дороже вчетверо тебе,

на обедневшее семейство
взирая, светят до утра
прожектора Адмиралтейства
и императора Петра.

Глава 15

Зима качает светофоры
пустыми крылышками вьюг,
с Преображенского собора
сдувая колокольный звук.

И торопливые фигурки
бормочут — Господи, прости,
и в занесенном переулке
стоит блестящее такси,

но в том же самом переулке
среди сугробов и морен
легко зимою в Петербурге
прожить себе без перемен,

пока рисует подоконник
на желтых краешках газет
непопулярный треугольник
любви, обыденности, бед,

и лишь Нева неугомонно
к заливу гонит облака,
дворцы, прохожих и колонны
и горький вымысел стиха.

Глава 16

По сопкам сызнова, по сопкам,
и радиометр трещит,
и поднимает невысоко
нас на себе Алданский щит.

На нем и с ним. Мои резоны,
как ваши рифмы, на виду,
таков наш хлеб: ходьба сезона,
четыре месяца в году.

По сопкам сызнова, по склонам,
тайга, кружащая вокруг,
не зеленей твоих вагонов,
экспресс Хабаровск—Петербург.

Вот характерный строй метафор
людей, бредущих по тайге,
о, база, лагерь или табор,
и ходит смерть невдалеке.

Алеко, господи, Алеко,
ты только выберись живым.
Алдан, двадцатое столетье,
хвала сезонам полевым.

Глава 17

Прости волнение и горечь
в моих словах, прости меня,
я не участник ваших сборищ,
и, как всегда, день ото дня

я буду чувствовать иное
волненье, горечь, но не ту.

Овладевающее мною
зимой в Таврическом саду

пинает снег и видит — листья,
четыре времени в году,
четыре времени для жизни,
а только гибнешь на лету

в каком-то пятом измереньи,
растает снег, не долетев,
в каком-то странном изумленьи
поля умолкнут, опустев,

утихнут уличные звуки,
настанет Пауза, а я
твержу на лестнице от скуки:
прости меня, любовь моя.

Глава 18

Трещала печь, героя пальцы
опять лежали на окне,
обои «Северные Альпы»,
портрет прабабки на стене,

в трельяж и в зеркало второе
всмотритесь пристальней, и вы
увидите портрет героя
на фоне мчащейся Невы,

внимать желаниям нетвердым
и все быстрей, и все быстрей
себе наматывать на горло
все ожерелье фонарей,

о, в этой комнате наскучит, —
герой угрюмо повторял,
и за стеной худую участь,
бренча, утраивал рояль,

да, в этой комнате усталой
из-за дверей лови, лови
все эти юные удары
по нелюбви, по нелюбви.

Глава 19

Апрель, апрель, беги и кашляй,
роняй себя из теплых рук,
над Петропавловскою башней
смыкает время узкий круг,

нет, нет. Останется хоть что-то,
хотя бы ты, апрельский свет,
хотя бы ты, моя работа.
Ни пяди нет, ни пяди нет,

ни пяди нет и нету цели,
движенье вбок, чего скрывать,
и так оно на самом деле,
и как звучит оно — плевать.

Один — Таврическим ли садом,
один — по Пестеля домой,
один — башкой, руками, задом,
ногами. Стенка. Боже мой.

Такси, собор. Не понимаю.
Дом офицеров, майский бал.
Отпой себя в начале мая,
куда я, Господи, попал.

Глава 20

Так остановишься в испуге
на незеленых островах,
так остаешься в Петербурге
на государственных правах,

нет, на словах, словах романа,
а не ногами на траве
и на асфальте — из кармана
достанешь жизнь в любой главе.

И, может быть, живут герои,
идут по улицам твоим,
и облака над головою
плывя им говорят: Творим

одной рукою человека,
хотя бы так, в карандаше,
хотя б на день, как на три века,
великий мир в его душе.

Часть III. СВЕТ

Глава 21
(романс)

Весна, весна, приходят люди
к пустой реке, шумит гранит,
течет река, кого ты судишь,
скажи, кто прав, река твердит,

гудит буксир за Летним садом,
скрипит асфальт, шумит трава,
каналов блеск и плеск канавок,
и все одна, одна строфа:

течет Нева к пустому лету,
кружа мосты с тоски, с тоски,
пройдешь и ты, и без ответа
оставишь ты вопрос реки,

каналов плеск и треск канатов,
и жизнь моя полна, полна,
пустых домов, мостов горбатых,
разжатых рек волна темна,

разжатых рек, квартир и поля,
такси скользят, глаза скользят,
разжатых рук любви и горя,
разжатых рук, путей назад.

Глава 22

Отъезд. Вот памятник неровный
любови, памятник себе,
вокзал, я брошенный любовник,
я твой с колесами в судьбе.

Скажи, куда я выезжаю
из этих плачущихся лет,
мелькнет в окне страна чужая,
махнет деревьями вослед.

Река, и памятник, и крепость —
все видишь сызнова во сне,

и по Морской летит троллейбус
с любовью в запертом окне.

И нет на родину возврата,
одни страдания верны,
за петербургские ограды
обиды как-нибудь верни.

Ты все раздашь на зимних скамьях
по незнакомым городам
и скормишь собранные камни
летейским жадным воробьям.

Глава 23

К намокшим вывескам свисая,
листва легка, листва легка,
над Мойкой серые фасады
клубятся, словно облака,

твой день бежит меж вечных хлопот,
асфальта шорох деловой,
свистя под нос, под шум и грохот,
съезжает осень с Моховой,

взгляни ей вслед и, если хочешь,
скажи себе — печаль бедна,
о, как ты искренне уходишь,
оставив только имена

судьбе, судьбе или картине,
но меж тобой, бредущей вслед,
и между пальцами моими
все больше воздуха и лет,

продли шаги, продли страданья,
пока кружится голова
и обрываются желанья
в душе, как новая листва.

Глава 24

Смеркалось, ветер, утихая,
спешил к Литейному мосту,
из переулков увлекая
окурки, пыльную листву.

Вдали по площади покатой
съезжали два грузовика,
с последним отсветом заката
сбивались в кучу облака.

Гремел трамвай по Миллионной,
и за версту его слыхал
минувший день в густых колоннах,
легко вздыхая, утихал.

Смеркалось. В комнате героя
трещала печь и свет серел,
безмолвно в зеркало сырое
герой все пристальней смотрел.

Проходит жизнь моя, он думал,
темнеет свет, сереет свет,
находишь боль, находишь юмор,
каким ты стал за столько лет.

Глава 25

Сползает свет по длинным стеклам,
с намокших стен к ногам скользя,

о, чьи глаза в тебя так смотрят,
наверно, зеркала глаза.

Он думал — облики случайней
догадок жутких вечеров,
проходит жизнь моя, печальней
не скажешь слов, не скажешь слов.

Теперь ты чувствуешь, как странно
понять, что суть в твоей судьбе
и суть несвязного романа
проходит жизнь сказать тебе.

И ночь сдвигает коридоры
и громко говорит — не верь,
в пустую комнату героя
толчком распахивая дверь.

И возникает на пороге
пришелец, памятник, венец
в конце любви, в конце дороги,
немого времени гонец.

Глава 26

И вновь знакомый переулок
белел обрывками газет,
торцы заученных прогулок,
толкуй о родине, сосед,

толкуй о чем-нибудь недавнем,
любимом в нынешние дни,
тверди о чем-нибудь недальнем,
о смерти издали шепни,

заметь, заметь — одно и то же
мы говорим так много лет,
бежит полуночный прохожий,
спешит за временем вослед,

горит окно, а ты все плачешь
и жмешься к черному стеклу,
кого ты судишь, что ты платишь,
река все плещет на углу.

Пред ним торцы, вода и бревна,
фасадов трещины пред ним,
он ускоряет шаг неровный,
ничем как будто не гоним.

Глава 27

Гоним. Пролетами Пассажа,
свистками, криками ворон,
густыми взмахами фасадов,
толпой фаллических колонн.

Гоним. Ты движешься в испуге
к Неве. Я снова говорю:
я снова вижу в Петербурге
фигуру вечную твою.

Гоним столетьями гонений,
от смерти всюду в двух шагах,
теперь здороваюсь, Евгений,
с тобой на этих берегах.

Река и улица вдохнули
любовь в потертые дома,

в тома дневной литературы
догадок вечного ума.

Гоним, но все-таки не изгнан,
один — сквозь тарахтящий век
вдоль водостоков и карнизов
живой и мертвый человек.

Глава 28

Зимою холоден Елагин.
Полотна узких облаков
висят, как согнутые флаги,
в подковах цинковых мостков,

и мертвым лыжником с обрыва
скользит непрожитая жизнь,
и белый конь бежит к заливу,
вминая снег, кто дышит вниз,

чьи пальцы согнуты в кармане,
тепло, спасибо и за то,
да кто же он, герой романа
в холодном драповом пальто,

он смотрит вниз, какой-то праздник
в его уме жужжит, жужжит,
не мертвый лыжник — мертвый всадник
у ног его теперь лежит.

Он ни при чем, здесь всадник мертвый,
коня белеющего бег
и облака. К подковам мерзлым
все липнет снег, все липнет снег.

Глава 29

Канал туманный Грибоедов,
сквозь двести лет шуршит вода,
немного в мире переехав,
приходишь сызнова сюда.

Со всем когда-нибудь сживешься
в кругу обидчивых харит,
к ограде счастливо прижмешься,
и вечер воду озарит.

Канал ботинок твой окатит
и где-то около Невы
плеснет водой зеленоватой, —
мой Бог, неужто это вы.

А это ты. В канале старом
ты столько лет плывешь уже,
канатов треск и плеск каналов
и улиц свет в твоей душе.

И боль в душе. Вот два столетья.
И улиц свет. И боль в груди.
И ты живешь один на свете,
и только город впереди.

Глава 30

Смотри, смотри, приходит полдень,
чей свет теплей, чей свет серей
всего, что ты опять не понял
на шумной родине своей.

Глава последняя, ты встанешь,
в последний раз в своем лице
сменив усталость, жизнь поставишь,
как будто рифму, на конце.

А век в лицо тебе смеется
и вдаль бежит сквозь треск идей.
Смотри, одно и остается —
цепляться снова за людей,

за их любовь, за свет и низость,
за свет и боль, за долгий крик,
пока из мертвых лет, как вызов,
летят слова — за них, за них.

Я прохожу сквозь вечный город,
дома твердят: река, держись,
шумит листва, в громадном хоре
я говорю тебе: все жизнь.

первая половина 1961
Ленинград

ШЕСТВИЕ

Поэма-мистерия
в двух частях-актах и в 42-х главах-сценах

Идея поэмы — идея персонификации представлений о мире, и в этом смысле она — гимн баналу.

Цель достигается путем вкладывания более или менее приблизительных формулировок этих представлений в уста двадцати не так более, как менее условных персонажей. Формулировки облечены в форму романсов. Романс — здесь понятие условное, по существу — монолог. Романсы рассчитаны на произнесение — и на произнесение с максимальной экспрессией: в этом, а также в некоторых длиннотах сказывается мистерийный характер поэмы. Романсы, кроме того, должны произноситься высокими голосами: нижний предел — нежелательный — баритон, верхний — идеальный — альт. Прочие наставления — у Шекспира в «Гамлете», в 3 акте.

Часть I

Пора давно за все благодарить,
за все, что невозможно подарить
когда-нибудь кому-нибудь из вас
и улыбнуться, словно в первый раз
в твоих дверях, ушедшая любовь,
но невозможно улыбнуться вновь.

Прощай, прощай — шепчу я на ходу,
среди знакомых улиц вновь иду,

подрагивают стекла надо мной,
растет вдали привычный гул дневной,
а в подворотнях гасятся огни.
— Прощай, любовь, когда-нибудь звони.

Так оглянись когда-нибудь назад:
стоят дома в прищуренных глазах,
и мимо них уже который год
по тротуарам шествие идет.

1

Вот Арлекин толкает свой возок,
и каплет пот на уличный песок,
и Коломбина машет из возка.
А вот Скрипач, в руках его тоска
и несколько монет. Таков Скрипач.
А рядом с ним вышагивает Плач,
плач комнаты и улицы в пальто,
блестящих проносящихся авто,
плач всех людей. А рядом с ним Поэт,
давно не брит и кое-как одет
и голоден, его колотит дрожь.
А меж домами льется серый дождь,
свисают с подоконников цветы,
а там, внизу, вышагиваешь ты.
Вот шествие по улице идет,
и кое-кто вполголоса поет,
а кое-кто поглядывает вверх,
а кое-кто поругивает век,
как, например, Усталый Человек.
И шум дождя и вспышки сигарет,
шаги и шорох утренних газет,
и шелест непроглаженных штанин

(не плохо ведь в рейтузах, Арлекин),
и звяканье оставшихся монет,
и тени их идут за ними вслед.

Любите тех, кто прожил жизнь впотьмах
и не оставил по себе бумаг
и памяти какой уж ни на есть,
не помышлял о перемене мест,
кто прожил жизнь, однако же не став
ни жертвой, ни участником забав,
в процессию по случаю попав.
Таков герой. В поэме он молчит,
не говорит, не шепчет, не кричит,
прислушиваясь к возгласам других,
не совершает действий никаких.
Я попытаюсь вас увлечь игрой:
никем не замечаемый порой,
запомните — присутствует герой.

2

Вот шествие по улице идет.
Вот ковыляет Мышкин-идиот,
в накидке над панелью наклонясь.
— Как поживаете теперь, любезный князь,
уже сентябрь, и новая зима
еще не одного сведет с ума,
ах, милый, успокойтесь наконец. —
Вот позади вышагивает Лжец,
посажена изящно голова,
лежат во рту великие слова,
а рядом с ним, закончивший поход,
неустрашимый рыцарь Дон Кихот
беседует с торговцем о сукне

и о судьбе. Ах, по моей вине
вам предстает ужасная толпа,
рябит в глазах, затея так глупа,
но все не зря. Вот книжка на столе,
весь разговорчик о добре и зле
свести к себе не самый тяжкий труд,
наверняка тебя не заберут.
Поставь на стол в стакан букетик зла,
найди в толпе фигуру Короля,
забытых королей на свете тьма,
сейчас сентябрь, потом придет зима.
Процессия по улице идет,
и дождь среди домов угрюмо льет.
Вот человек, Бог знает чем согрет,
вот человек — за пару сигарет
он всем раскроет честности секрет,
кто хочет, тот послушает рассказ,
Честняга — так зовут его у нас.
Представить вам осмеливаюсь я
принц-Гамлета, любезные друзья,
у нас компания — всё принцы да князья.
Осмелюсь полагать, за триста лет,
принц-Гамлет, вы придумали ответ,
и вы его изложите. Идет.
Процессия по улице бредет,
и кажется, что дождь уже ослаб,
маячит пестрота одежд и шляп,
принц-Гамлет в землю устремляет взор,
Честняге на ухо бормочет Вор,
но гонит Вора Честности пример
(простите — Вор, представить не успел).
Вот шествие по улице идет,
и дождь уже совсем перестает,
не может же он литься целый век,
заметьте — вот Счастливый Человек

с обычною улыбкой на устах.
— Чему вы улыбнулись? — Просто так.
Любовники идут из-за угла,
белеют обнаженные тела,
в холодной тьме навеки обнялись,
и губы побледневшие слились.
Все та же ночь у них в глазах пустых,
навеки обнялись, навек застыв,
в холодной мгле белеют их тела,
прошла ли жизнь, или любовь прошла,
стекает вниз вода и белый свет
с любовников, которых больше нет.
Ступай, ступай, печальное перо,
куда бы ты меня ни привело,
болтливое, худое ремесло,
в любой воде плещи мое весло.
Так зарисуем пару новых морд:
вот Крысолов из Гаммельна и Чорт,
опять в плаще и чуточку рогат,
но, как всегда, на выдумки богат.

3

Достаточно. Теперь остановлюсь.
Такой сумбур, что я не удивлюсь,
найдя свои стихи среди газет,
отправленных читателем в клозет,
самих читателей объятых сном.

Поговорим о чем-нибудь ином.
Как бесконечно шествие людей,
как заунывно пение дождей
среди домов, а Человек озяб,
маячит пестрота одежд и шляп,
и тени их идут за ними вслед,

и шум шагов и шорох сигарет,
и дождь все льется, льется без конца
на Крысолова, Принца и Лжеца,
на Короля, на Вора и на Плач,
и прячет скрипку под пальто Скрипач,
и на Честнягу Чорт накинул плащ.
Усталый Человек закрыл глаза,
и брызги с дон-кихотова таза
летят на Арлекина, Арлекин
Торговцу кофту протянул — накинь.
Счастливец поднимает черный зонт,
Поэт потухший поднимает взор
и воротник, Князь Мышкин-идиот
склонился над панелью: кашель бьет;
процессия по улице идет,
и дождь, чуть прекратившийся на миг,
стекает вниз с любовников нагих.

Вот так всегда, — когда ни оглянись,
проходит за спиной толпою жизнь,
неведомая, странная подчас,
где смерть приходит словно в первый раз
и где никто-никто не знает нас.
Прислушайся — ты слышишь ровный шум
быть может, это гул тяжелых дум,
а может, гул обычных новостей,
а может быть — печальный хор страстей.

4. Романс АРЛЕКИНА

По всякой земле
балаганчик везу,
а что я видал на своем веку:
кусочек плоти бредет внизу,
кусочек металла летит наверху.

За веком век, за веком век
ложится в землю любой человек,
несчастлив и счастлив,
зол и влюблен,
лежит под землей не один миллион.
Жалей себя, пожалей себя,
одни говорят — умирай за них,
иногда судьба,
иногда стрельба,
иногда по любви, иногда из-за книг.

Ах, будь и к себе и к другим не плох,
может, тебя и помилует Бог,
однако ты ввысь не особо стремись,
ведь смерть — это жизнь, а жизнь — это жизнь.

По темной земле
балаганчик везу,
а что я видал на своем веку:
кусочек плоти бредет внизу,
кусочек металла летит наверху.

5. Романс КОЛОМБИНЫ

Мой Арлекин чуть-чуть мудрец,
так мало говорит,
мой Арлекин чуть-чуть хитрец,
хотя простак на вид,
ах, Арлекину моему
успех и слава ни к чему,
одна любовь ему нужна,
и я его жена.
Он разрешит любой вопрос,
хотя на вид — простак,

на самом деле он не прост,
мой Арлекин — чудак.
Увы, он сложный человек,
но главная беда,
что слишком часто смотрит вверх
в последние года.
А в небесах летят, летят,
летят во все концы,
а в небесах свистят, свистят
безумные птенцы,
и белый свет, железный свист
я вижу из окна,
ах, Боже мой, как много птиц,
а жизнь всего одна.

Мой Арлекин чуть-чуть мудрец,
хотя простак на вид, —
нам скоро всем придет конец —
вот так он говорит,
мой Арлекин хитрец, простак,
привык к любым вещам,
он что-то ищет в небесах
и плачет по ночам.

Я Коломбина, я жена,
я езжу вслед за ним,
свеча в фургоне зажжена,
нам хорошо одним,
в вечернем небе высоко
птенцы, а я смотрю.
Но что-то в этом от того,
чего я не люблю.

Проходят дни, проходят дни
вдоль городов и сел,

мелькают новые огни
и музыка и сор,
и в этих селах, в городках
я коврик выношу,
и муж мой ходит на руках,
а я опять пляшу.

На всей земле, на всей земле
не так уж много мест,
вот Петроград шумит во мгле,
в который раз мы здесь.
Он Арлекина моего
в свою уводит мглу.
Но что-то в этом от того,
чего я не люблю.

Сожми виски, сожми виски,
сотри огонь с лица,
да, что-то в этом от тоски,
которой нет конца!
Мы в этом мире на столе
совсем чуть-чуть берем,
мы едем, едем по земле,
покуда не умрем.

6. Романс ПОЭТА

Как нравится тебе моя любовь,
печаль моя с цветами в стороне,
как нравится оказываться вновь
с любовью на войне, как на войне.

Как нравится писать мне об одном,
входить в свой дом как славно одному,

как нравится мне громко плакать днем,
кричать по телефону твоему:

— Как нравится тебе моя любовь,
как в сторону я снова отхожу,
как нравится печаль моя и боль
всех дней моих, покуда я дышу.

Так что еще, так что мне целовать,
как одному на свете танцевать,
как хорошо плясать тебе уже,
покуда слезы плещутся в душе.

Всё мальчиком по жизни, всё юнцом,
с разбитым жизнерадостным лицом,
ты кружишься сквозь лучшие года,
в руке платочек, надпись «никуда».

И жизнь как смерть, случайна и легка,
так выбери одно наверняка,
так выбери, с чем жизнь тебе сравнить,
так выбери, где голову склонить.

Всё мальчиком по жизни, о любовь,
без устали, без устали пляши,
по комнатам расплескивая вновь,
расплескивая боль своей души.

7. Комментарий

Вот наш поэт, еще не слишком стар,
он говорит неправду, он устал
от улочек ночных, их адресов,
пугающих предутренних часов,

от шороха дождя о диабаз,
от редких, от недружелюбных глаз,
от рева проносящихся машин,
от силуэтов горестных мужчин
здесь, в сумраке, от невеселых слов,
от нелюбви, от беспокойных снов,
Бог знает от чего. И от себя.
Он говорит: судьба моя, судьба
брести всю жизнь по улицам другим
куда-нибудь к друзьям недорогим,
а может быть, домой сквозь новый дождь,
и ощущать реку, стекло и дрожь
худой листвы, идти, идти назад,
знакомый и обшарпанный фасад,
вот здесь опять под вечер оживать
и с новой жизнью жизнь свою сшивать.

Все таковы. Да, все слова, стихи,
вы бродите средь нас, как чужаки,
но в то же время — близкие друзья:
любить нельзя и умирать нельзя,
но что-нибудь останется от вас, —
хотя б любовь, хотя б — в последний раз,
а может быть, обыденная грусть,
а может быть, одни названья чувств.

Вперед, друзья. Вперед. Adieu, tristesse[1].
Поговорим о перемене мест,
поговорим о нравах тех округ,
где нету нас, но побывал наш друг —
печальный парень, рыцарь, доброхот,
известный вам идальго Дон Кихот.

---

[1] Прощай, грусть (*фр.*).

8. Романс ДОН КИХОТА

Копье мое, копье мое, копье,
оружие, имущество мое,
могущество мое таится в нем,
я странствую по-прежнему с копьем,
как хорошо сегодня нам вдвоем.

О чем же я. Ах, эти города,
по переулкам грязная вода,
там ничего особого, о да,
немало богачей встречаю я,
но нет ни у кого из них копья!

Копье мое, копье мое, копье,
имущество, могущество мое,
мы странствуем по-прежнему вдвоем,
когда-нибудь кого-нибудь убьем,
я странствую, я странствую с копьем.

Что города с бутылками вина,
к ним близится великая война,
безликая беда, и чья вина,
что городам так славно повезло.

КАК ТЕНЬ ЛЮДЕЙ — НЕУЯЗВИМО ЗЛО!

Так что же ты теперь, мое копье,
имущество мое, дитя мое.
Неужто я гляжу в последний раз,
кончается мой маленький рассказ,
греми на голове мой медный таз!

Отныне одному из нас конец!
Прощай, прощай, о Санчо, мой мудрец,

прощайте все, я больше не могу,
блести мой таз, как ангельский венец,
по улице с несчастьями бегу.

9. Комментарий

Смешной романс. Да, все мы таковы,
страдальцы торопливые, увы,
ведь мужество смешно, забавен страх,
легко теперь остаться в дураках.
Пойди пойми, над чем смеется век,
о, как тебе неловко, человек.

Так где-то на рассвете в сентябре
бредешь в громадном проходном дворе,
чуть моросит за чугуном ворот,
сухой рукой ты вытираешь рот,
и вот выходишь на пустой проспект,
и вдоль витрин и вымокших газет,
вдоль фонарей, оград, за поворот
все дальше ты уходишь от ворот,
в которых всё живут еще друзья,
которых ни любить, ни гнать нельзя,
все дальше, дальше ты. И на углу
сворачиваешь в утреннюю мглу.

Ступай, ступай. И думай о себе.
В твоей судьбе, как и в любой судьбе,
переплелись, как теплые тела,
твои дела и не твои дела
с настойчивой усталостью души.
Ты слышишь эту песенку в тиши:

Вперед-вперед, отечество мое,
куда нас гонит храброе жулье,
куда нас гонит злобный стук идей
и хор апоплексических вождей.

Вперед-вперед, за нами правота,
вперед-вперед, как наша жизнь верна,
вперед-вперед, не жалко живота,
привет тебе, счастливая война.

Вперед-вперед, за радиожраньем,
вперед-вперед, мы лучше всех живем,
весь белый свет мы слопаем живьем,
хранимые лысеющим жульем,

хвала тебе, прелестный белый свет,
хвала тебе, удачная война,
вот я из тех, которым места нет,
рассчитывай не слишком на меня.

Прощай, прощай, когда-нибудь умру,
а ты, сосед, когда-нибудь ответь
Лжецу, который делает игру,
когда тебе понадобится смерть.

Ты слышишь эту песенку в тиши.
Иди, иди, пройти квартал спеши.
Ступай, ступай, быстрее проходи.
Ступай, ступай, весь город впереди.
Ступай, ступай, начнется скоро день
твоих и не твоих поспешных дел.
Вот так всегда — здесь время вдаль идет,
а кто-то в стороне о нем поет.
Ступай, ступай, быстрее проходи,
иди, иди, весь город впереди.

Еще на день там возникает жизнь,
но к шествию ты присоединись,
а если надо — будешь впереди,
квартал с поющим песню обойди.

10. Баллада и романс ЛЖЕЦА

Не в новость ложь и искренность не в новость,
попробуйте послушать эту повесть
о горестной истории Лжеца —
балладу без счастливого конца.

Баллада

Не в новость ложь и искренность не в новость.
Какую маску надевает совесть
на старый лик, в каком она наряде
появится сегодня в маскараде,
Бог ведает. Послушайте балладу,
но разделите нежность и браваду,

реальное событье с чудесами —
все это вы проделаете сами.
Придется покорпеть с моим рассказом,
ваш разум будет заходить за разум,
что в общем для меня одно и то же.
Потрудитесь. Но истина дороже.

Я шел по переулку
как ножницы шаги
вышагиваю я
средь бела дня

по проспекту,
как на бумаге,
шагает Некто
наоборот — во мраке.

И вновь благоухали анемоны,
выкрикивали птицы над базаром,
гудели привокзальные колонны,
но я-то проходил среди развалин.

И, Господи, что виделось, что было,
как новая весна меня ловила,
и новым колесом автомобиля
меня на переулочках давила.

И новая весна уже лежала,
любовников ногами окружала
и шарила белесыми руками
и взмахивала тонкими кругами.

Благословен приятель победивший,
благословен удачливый мужчина,
благословен любовник, придавивший
ногой — весну, соперника — машиной.

Лови, лови. Лови меня на слове,
что в улице средь солнца и метели,
что во сто крат лежащий в луже крови
счастливее лежащего в постели.

Слова лжеца — вы скажете. Ну, что же.
Я щеголяю выдумкой и ложью,
лжецу всегда несчастия дороже:
они на правду более похожи.

Романс

Актер изображает жизнь и смерть,
натягивает бороду, парик.

— Попробуйте однажды умереть! —
знакомый лжец открыто говорит.

Он вечно продолжает свой рассказ,
вы — вечно норовите улизнуть.
Заметив вас, он хочет всякий раз
о вашей жизни что-нибудь сболтнуть.

Он вводит вас в какой-то странный мир
сквозь комнаты дремучие, как лес,
он прячется за окнами квартир,
выкрикивает издали: Я здесь!

Все правильно. Вы чувствуете страх,
все правильно — вы прячете свой взор,
вы шепчете вослед ему — дурак,
бормочете — все глупости и вздор.

Друзья мои, я вам в лицо смотрю,
друзья мои, а вас колотит дрожь,
друзья мои, я правду говорю,
но дьявольски похожую на ложь.

11. Комментарий

Шаги и шорох утренних газет,
и шум дождя, и вспышки сигарет,
и утреннего света пелена,
пустые тени пасмурного дня,
и ложь и правда, что-нибудь возьми,
что движет невеселыми людьми.
Так чувствуешь все чаще в сентябре,
что все мы приближаемся к поре
безмерной одинокости души,

когда дела всё так же хороши,
когда всё так же искренни слова
и помыслы, но прежние права,
которые ты выдумал в любви
к своим друзьям, — зови их, не зови,
звони им — начинают увядать,
и больше не отрадно увидать
в иной зиме такой знакомый след,
в знакомцах новых тот же вечный свет.

Ты облетаешь, дерево любви.
Моей не задевая головы,
слетают листья к замершей земле,
к моим ногам, расставленным во мгле.
Ты все шумишь и шум твой не ослаб,
но вижу я в твоих ветвях октябрь,
все кажется — кого-то ты зовешь,
но с новою весной не оживешь.
Да, многое дала тебе любовь,
теперь вовеки не получишь вновь
такой же свет, хоть до смерти ищи
другую жизнь, как новый хлеб души.

Да, о Лжеце. Там современный слог
и легкий крик, но не возьму я в толк,
зачем он так несдержан на язык,
ведь он-то уже понял и привык
к тому — хоть это дьявольски смешно, —
что ложь и правда, кажется, одно,
что лживые и честные слова
одна изобретает голова,
одни уста способны их сказать,
чему же предпочтенье оказать.
Как мало смысла в искренних словах,
цените ложь за равенство в правах

с правдивостью, за минимум возни,
а искренность — за привкус новизны.
Пусть говорит Усталый Человек.
Чего мне ждать от этаких калек,
опять пойдут неловкие стихи,
чуть-чуть литературщины, тоски;
когда-нибудь коснешься тех же мук,
и городских элегий новый звук
опять взлетит. Ну, вот и цель и хлеб:
к своим ногам вымеривать их цепь,
к своей судьбе — и поперек и вдоль
у всех у них одна и та же боль.

12. ГОРОДСКАЯ ЭЛЕГИЯ
(Романс УСТАЛОГО ЧЕЛОВЕКА)

Осенний сумрак листья шевелит
и новыми газетами белеет,
и цинковыми урнами сереет,
и облаком над улочкой парит.
И на мосту троллейбус тарахтит,
вдали река прерывисто светлеет,
и аленький комок в тебе болеет
и маленькими залпами палит.

И снова наступает забытье,
и льется свет от лампы до бумаги,
глядят в окно на странное житье
пугающие уличные знаки.
Комком бумажным катится твой век
вдоль подворотен, вдаль по диабазу
и в закоулках пропадает сразу.
А ты смотри, ты все смотри наверх.

Хоть что-нибудь увидишь в небесах,
за новыми заметишь облаками...

Как странно обнаружить на часах
всю жизнь свою с разжатыми руками
и вот понять: она — как забытье,
что, не прожив ее четвертой части,
нежданно оказался ты во власти
и вовсе отказаться от нее.

13. Комментарий

Читатель мой, куда ты запропал.
Ты пару монологов переспал,
теперь ты посвежел, сидишь, остришь,
а вечером за преф или за бридж
от нового романса улизнешь,
конечно, если раньше не заснешь.
Так, видимо, угоднее судьбе.
О чем же я горюю, о себе.
Пожалуй, нет. Привычно говорю.
Ведь я и сам немногое дарю,
привычно хлопочу: читатель где!
И, кажется, читаю в пустоте.

Горюй, горюй, попробуем сберечь
всех персонажей сбивчивую речь,
что легче, чем сулить и обещать,
чем автора с героями смешать,
чем, вздрагивая, хмыкая, сопя,
в других искать и находить себя.
Горюй, горюй, сквозь наши времена
плывут и проползают имена
других людей, которых нам не знать,

которым суждено нас обогнать,
хотя бы потому, что и для нас
трудней любить все больше всякий раз.

Итак, за сценой нарастает джаз,
и красные софиты в три луча
выносят к рампе песню Скрипача.

14. Романс СКРИПАЧА

Тогда, когда любовей с нами нет,
тогда, когда от холода горбат,
достань из чемодана пистолет,
достань и заложи его в ломбард.

Купи на эти деньги патефон
и где-нибудь на свете потанцуй
(в затылке нарастает перезвон),
ах, ручку патефона поцелуй.

Да, слушайте совета Скрипача,
как следует стреляться сгоряча:
не в голову, а около плеча!
Живите только плача и крича!

На блюдечке я сердце понесу
и где-нибудь оставлю во дворе.
Друзья, ах, догадайтесь по лицу,
что сердца не отыщется в дыре,

проделанной на розовой груди,
и только патефоны впереди,
и только струны-струны, провода,
и только в горле красная вода.

15. Комментарий

Он отнимает скрипку от плеча.
Друзья, благодарите Скрипача.
Так завернем в бумажку пятаки
и — в форточку. И взмах его руки
на дне двора беспомощно мелькнет,
он медленно наклонится, вздохнет
и, растянув в полуулыбке рот,
упавшие монеты подберет.

Вот вспоминай года после войны.
По всем дворам скитаются они,
и музыка ползет вдоль темных стен
то дважды в день, а то и трижды в день.
Свистят, свистят весь день смычки калек,
как будто наступает новый век,
сплошное пенье, скрипки, кутерьма,
и струнами опутаны дома,
и всё смычки военные свистят,
и пятаки по воздуху летят.

Как учит нас столетье выбирать
тот возраст, где удачней умирать,
где целый дом роняет из ОКНА
тот возраст, где кончается война,
тот возраст, где ты шествовал меж пуль.
И голову просовываешь в нуль,
просовываешь новую тоску
в нуль с хвостиком, а хвостик — к потолку.

Но где они, куда они ушли
и где твои слова их не нашли.
Ведь это все звучало не вчера,
и, слыша только скрипки со двора,

сквозь эти дни все рушится вода.
К каким делам мы перешли тогда.

Была ли это правда или ложь,
теперь наверняка не разберешь,
но кто-то был правдив, а кто-то лжив,
но кто-то застрелился, кто-то жив,
а кто играет до сих пор в кино,
но остальные умерли давно.
Но был другой — таким и нужно быть, —
кто ухитрился обо всем забыть,
своей игрой столовые пленяв.

Живи, живи, мы встретимся на днях.

Живи в послевоенных городах,
играй в столовых, вечером — в садах,
играй, играй провинциальный вальс
и мальчикам подмигивай — для нас.
Твой день пройдет, мелькнет, как легкий тур
среди смычков, огней, клавиатур,
провинциальный клен прошелестит,
и женщина знакомая простит,
и Бог простит бездумный краткий век
военных и заслуженных калек,
и ты уйдешь, не задолжав за хлеб,
но искус у окна преодолев...

16

И продолжать осмеливаюсь я.
Вперед, моя громоздкая ладья,
читатель мой, медлительность прости,
мне одному приходится грести.

Вот Арлекин в проулок повернул,
а Лжец Поэту ловко подмигнул
и, за руку схватив, повлек в проход,
за ними увязался Дон Кихот.
И вот они уже у входа в бар.
Усталый Человек на тротуар
бессильно опустился и заснул,
а дождь все лил, и разносился гул
дневных забот, Скрипач висел в петле.

А мы поговорим о Короле.

17. Баллада и романс КОРОЛЯ

Баллада

Жил-был король, жил-был король,
он храбрый был, как лев,
жил-был король, жил-был король,
король без королев.
Он, кроме хлеба, ничего
не ел, не пил вина,
одна отрада у него
была: война, война.

И день и ночь в седле, в седле,
и день и ночь с мечом,
он мчался, мчался по земле,
и кровь лилась ручьем
за ним, за ним, а впереди
рассветный ореол,
и на закованной груди
во мгле мерцал орел.

Летели дни, неслись года,
он не смыкал очей,
о, что гнало его туда,
где вечный лязг мечей,
о, что гнало его в поход,
вперед, как лошадь — плеть,
о, что гнало его вперед,
искать огонь и смерть.
И сеять гибель каждый раз,
топтать чужой посев...

То было что-то выше нас,
то было выше всех.

Ответь, ответь, найди ответ,
тотчас его забудь,
ответь, ответь, найди ответ,
но сам таким не будь.
Он пред врагами честь свою
и шпагу не сложил,
он жизнь свою прожил в бою,
он жизнь свою прожил!

Гони, гони, гони коней,
богатство, смерть и власть,
но что на свете есть сильней,
но что сильней, чем страсть.
Враги поймут, глупцы простят,
а кто заучит роль,
тот страстотерпец, тот солдат,
солдат, мертвец, король.

Простись, простись, простимся с ним,
простимся, чья вина,
что тишь да гладь нужна одним,

другим нужна война,
и дробь копыт, и жизни дробь,
походные костры.
Одним — удар земли о гроб,
другим — кларнет зари.

Романс

— Памятью убитых, памятью всех,
если не забытых, так все ж без вех
лежащих беззлобно — пусты уста,
без песенки надгробной, без креста.

Я-то уж, наверно, ею не храним,
кто-нибудь манерно плачет по ним,
плачет, поминает землю в горсти,
меня проклинает, Господь, прости.

Нет мне изгнанья ни в рай, ни в ад,
долгое дознанье, кто виноват,
дело-то простое, гора костей,
Господи, не стоит судить людей.

Ежели ты выжил — садись на коня,
что-то было выше, выше меня,
я-то проезжаю вперед к огню,
я-то продолжаю свою войну.

Я проезжаю. В конце — одно.
Я-то продолжаю, не все ли равно,
все-то на свете в говне, в огне,
саксофоны смерти поют по мне.

Радость или злобу сотри с лица,
орлик мой орлик, крылья на груди,

Жизни и Смерти нет конца,
где-нибудь на свете лети, лети.

18. Комментарий

Как нравится романс его тебе.
Гадай, как оказался он в толпе,
но только слишком в дебри не залезь,
и в самом деле, что он делал здесь,
среди дождя, гудков автомашин,
кто может быть здесь более чужим,
среди обвисших канотье, манжет
и старых пузырящихся газет,
чем вылезший на монотонный фон
нечесаный смятенный солдафон.

Кошмар столетья — ядерный грибок,
но мы привыкли к топоту сапог,
привыкли к ограниченной еде,
годами лишь на хлебе и воде,
иного ничего не бравши в рот,
мы умудрялись продолжать свой род,
твердили генералов имена,
и модно хаки в наши времена;
всегда и терпеливы и скромны,
мы жили от войны и до войны,
от маленькой войны и до большой,
мы все в крови — в своей или чужой.

Не привыкать. Вот взрыв издалека.
Еще планета слишком велика,
и нелегко все то, что нам грозит,
не только осознать — вообразить.

Но оборву. Я далеко залез.
Политика. Какой-то темный лес.
И жизнь и смерть и скука до небес.

Что далее. А далее — зима.
Пока пишу, остывшие дома
на кухнях заворачивают кран,
прокладывают вату между рам,
теперь ты домосед и звездочет,
октябрьский воздух в форточки течет,
к зиме, к зиме все движется в умах,
и я гляжу, как за церковным садом
железо крыш на выцветших домах
волнуется, готовясь к снегопадам.

Читатель мой, сентябрь миновал,
и я все больше чувствую провал
меж временем, что движется бегом,
меж временем и собственным стихом.
Читатель мой, ты так нетерпелив,
но скоро мы устроим перерыв,
и ты опять приляжешь на кровать,
а может быть, пойдешь потанцевать.
Читатель мой, любитель перемен,
ты слишком много требуешь взамен
поспешного вниманья твоего.
И мне не остается ничего,
как выдумать какой-то новый ход,
чтоб избежать обилия невзгод,
полна которых косвенная речь,
все для того, чтобы тебя увлечь.
Я продолжаю. Начали. Пора.
Нравоучений целая гора
из детективной песенки Вора.

19. Романс ВОРА

Оттуда взять, отсюда взять.
Куда потом сложить.
Рукою в глаз, коленом в зад,
и так всю жизнь прожить.

И день бежит, и дождь идет,
во мгле летит авто,
и кто-то жизнь у нас крадет,
но непонятно кто.

Держи-лови, вперед, назад,
подонок, сука, тать!
Отсюда взять, оттуда взять,
кому потом продать.

Звонки, гудки, свистки, дела,
в конце всего — погост,
и смерть пришла, и жизнь прошла
как будто псу под хвост.

Свистеть щеглом и сыто жить,
а также лезть в ярмо,
потом и то и то сложить
и получить дерьмо.

И льется дождь, и град летит,
везде огни, вода,
но чей-то взгляд следит, следит
за мной всегда, всегда.

Влезай, влетай в окно, птенец,
вдыхай амбре дерьма,

стрельба и смерть — один конец,
а на худой — тюрьма.

И жизнь и смерть в одних часах,
о, странное родство!
ВСЕВЫШНИЙ СЫЩИК в небесах
и чье-то воровство.

Тебе меня не взять, не взять,
не вдеть кольца в ноздрю,
рукою в глаз, коленом в зад,
и головой — в петлю!

20. Комментарий

Поэты утомительно поют,
а воры нам загадки задают.
Куда девался прежний герметизм.
На что теперь похожей стала жизнь.
Сплошной бордель.
Но мы проявим такт:
объявим-ка обещанный антракт.

Танцуйте все и выбирайте дам.
Осмеливаюсь я напомнить вам:
не любят дамы скучного лица.

Теперь уж недалёко до конца.

*(Уходит, следует десятиминутный
джазовый проигрыш)*

Конец первой части

Часть II

Уже дома пустеют до зари,
листва внизу, и только ветер дует,
уже октябрь, читатели мои,
приходит время новых поцелуев.
Спешат, спешат над нами облака
куда-то вдаль, к затихшей непогоде.
О чем писать, об этом ли уходе.
И новый свет бежит издалека,
и нам не миновать его лучей.
И может быть, покажется скучней
мое повествование, чем прежде.
Но, Боже мой, останемся в надежде,
что все же нам удастся преуспеть:
вам — поумнеть, а мне — не поглупеть.

Я продолжаю. Начали. Вперед.

21

Вот шествие по улице идет.
Уж вечереет. Город кроет тень.
Все тот же город, тот же год и день,
и тот же дождь и тот же гул и мгла,
и тот же тусклый свет из-за угла,
и улица все та ж, и магазин,
и вот толпа гогочущих разинь.

А вечер зажигает фонари.
Студентики, фарцмены, тихари,
грузины, блядуны, инженера
и потаскушки — вечная пора,
вечерняя пора по городам,

полупарад ежевечерних дам,
солдатики, курсантики — крупа...
Однообразна русская толпа.
О них еще продолжим разговор,
впоследствии мы назовем их — ХОР.

Бредет сомнамбулический отряд.
Самим себе о чем-то говорят,
князь Мышкин, Плач, Честняга, Крысолов
о чем-то говорят, не слышно слов,
а только шум. Бредут, бредут, хрипя,
навеки погруженные в себя,
и над Счастливцем зонтик распростерт,
и прижимается к Торговцу Чорт,
принц Гамлет руки сложит на груди,
Любовники белеют позади.

Читатель мой, внимательней взгляни:
завесою дождя отделены
от нас с тобою десять человек.
Забудь на миг свой торопливый век
и недоверчивость на время спрячь,
и в улицу шагни, накинув плащ,
и, втягивая голову меж плеч,
ты попытайся разобрать их речь.

22. Романс князя МЫШКИНА

В Петербурге снег и непогода,
в Петербурге горестные мысли,
проживая больше год от года,
удивляться в Петербурге жизни.

Приезжать на Родину в карете,
приезжать на Родину в несчастьи,

приезжать на Родину для смерти,
умирать на Родине со страстью.

Умираешь, ну и Бог с тобою,
во гробу, как в колыбельке чистой,
привыкать на родине к любови,
привыкать на родине к убийству.

Боже мой, любимых, пережитых,
уничтожить хочешь — уничтожишь,
подними мне руки для защиты,
если пощадить меня не можешь.

Если ты не хочешь. И не надо.
И в любви, испуганно ловимой,
поскользнись на родине и падай,
оказавшись во крови любимой.

Уезжать, бежать из Петербурга.
И всю жизнь летит до поворота,
до любви, до сна, до переулка
зимняя карета идиота.

23. Комментарий

А все октябрь за окном шумит,
и переулок за ночь перемыт
не раз, не два холодною водой,
и подворотни дышат пустотой.
Теперь все позже гаснут фонари,
неясный свет октябрьской зари
не затопляет мёрзлые предместья,
и все ползет по фабрикам туман,
еще не прояснившимся умам

мерещатся последние известья,
и тарахтя и стеклами, и жестью,
трамваи проезжают по домам.

(В такой-то час я продолжал рассказ.
Недоуменье непротертых глаз
и невниманье полусонных душ
и торопливость, как холодный душ,
сливались в леденящую струю
и рушились в мистерию мою.)

Читатель мой, мы в октябре живем.
В твоем воображении живом
теперь легко представится тоска
несчастного российского князька.
Ведь в октябре несложней тосковать,
морозный воздух молча целовать,
листать мою поэму...
                                        Боже мой,
что, если ты прочтешь ее зимой
иль в августе воротишься домой
из южных путешествий, загорев,
и, только во вступленьи надоев,
довольством и вниманием убит,
я буду брошен в угол и забыт,
чтоб поразмыслить над своей судьбой,
читатель мой...
                                А впрочем, чорт с тобой!
Прекрасным людям счастья не дано.
Счастливое рассветное вино,
давно кружить в их душах перестав,
мгновенно высыхает на устах,
и снова погружается во мрак
прекраснодушный идиот, дурак,
и дверь любви запорами гремит,

и в горле горечь тягостно шумит.
Так пей вино тоски и нелюбви
и смерть к себе испуганно зови,
чужие души робко теребя.

Но хватит комментариев с тебя.

Читатель мой, я надоел давно,
но все же посоветую одно:
когда придет октябрь — уходи,
по сторонам презрительно гляди,
кого угодно можешь целовать,
обманывать, грубить и блядовать,
до омерзенья, до безумья пить.
Но в октябре не начинай любить.
(Я умудрен, как змей или отец.)

Но перейдем к Честняге, наконец.

24. Романс для ЧЕСТНЯГИ и ХОРА

Хор:

Здесь дождь и дым и улица,
туман и блеск огня.

Честняга:

Глупцы, придурки, умники,
послушайте меня,
как честностью прославиться,
живя в добре и зле,
что сделать, чтоб понравиться
на небе и земле.
Я знал четыре способа:

— Покуда не умрешь,
надеяться на Господа...

Хор:

Ха-ха, приятель, врешь!

Честняга:

Я слышу смех, иль кажется
мне этот жуткий смех.

Друзья, любите каждого,
друзья, любите всех —
и дальнего и ближнего,
детей и стариков...

Хор:

Ха-ха, он выпил лишнего,
он ищет дураков!

Честняга:

Я слышу смех. Наверное,
я слышу шум машин;
друзья, вот средство верное,
вот идеал мужчин:

— Берите весла длинные,
топор, пилу, перо —
и за добро творимое
получите добро,
стучите в твердь лопатами,
марайте белый лист.
— Воздастся и заплатится...

Хор:

Ха-ха, приятель, свист!
Ты нас считаешь дурнями,
считаешь за детей.

Честняга:

Я слышу смех. Я думаю,
что это смех людей.
И я скажу, что думаю,
пускай в конце концов
я не достану курева
у этих наглецов.
О, как они куражатся,
но я скажу им всем
четвертое и, кажется,
ненужное совсем,
четвертое (и лишнее),
души (и тела) лень.

— За ваши чувства высшие
цепляйтесь каждый день,
за ваши чувства сильные,
за горький кавардак
цепляйтесь крепче, милые...

Хор:

А ну, заткнись, мудак!
Чего ты добиваешься,
ты хлебало заткни,
чего ты дорываешься
над русскими людьми.
Земля и небо — Господа,
но нам дано одно.
Ты знал четыре способа,

но все они — говно.
Но что-то проворонил ты:
чтоб сыто есть и пить,
ты должен постороннему
на горло наступить.
Прости, мы извиняемся,
но знал ли ты когда,
как запросто меняются
на перегной года,
взамен обеда сытного,
взамен «люблю-люблю» —
труда, но непосильного,
с любовью — по рублю.
И нам дано от Господа
немногое суметь,
но ключ любого способа,
но главное — ПОСМЕТЬ,
посметь заехать в рожу
и обмануть посметь,
и жизнь на жизнь похожа!

Честняга:

Но более — на смерть.

25. Комментарий

Предоставляю каждому судить,
кого здесь нужно просто посадить
на цепь и за решетку. Чудеса.
Не лучше ль будет отвести глаза.

И вновь увидеть золото аллей,
закат, который пламени алей,

и шум ветвей и листья у виска,
и чей-то слабый взор издалека,
и над Невою воздух голубой,
и голубое небо над собой.
И сердце бьется медленней в груди,
и кажется — все беды позади,
и даже голоса их не слышны.
И посредине этой тишины
им не связать оборванную нить,
не выйти у тебя из-за спины,
чтоб сад, и жизнь, и осень заслонить.
Стихи мои как бедная листва.
К какой зиме торопятся слова.
Но как листву — испуганно лови
вокруг слова из прожитой любви,
и прижимай ладони к голове,
и по газонной согнутой траве
спеши назад — они бегут вослед,
но кажется, что впереди их нет.
Живи, живи под шум календаря,
о чем-то непрерывно говоря,
чтоб добежать до самого конца
и, отнимая руки от лица,
увидеть, что попал в знакомый сад,
и обернуться в ужасе назад:
— Как велики страдания твои.
Но, как всегда не зная для кого,
твори себя и жизнь свою твори
всей силою несчастья твоего.

26

Средь шумных расставаний городских,
гудков авто и гулов заводских

и теплых магазинных площадей
опять встречать потерянных людей,
в какое-то мгновенье вспоминать
и всплескивать руками, догонять,
едва ли не попав под колесо,
да, догонять, заглядывать в лицо,
и узнавать, и тут же целовать,
от радости на месте танцевать
и говорить о переменах дел,
«да-да, я замечаю, похудел»,
«да-да, пора заглядывать к врачу»,
и дружелюбно хлопать по плечу,
и, вдруг заметив время на часах
и телефон с ошибкой записав,
опять переминаться и спешить,
приятеля в объятьях придушить
и торопиться за трамваем вслед,
теряя человека на пять лет.
Так обойдется время и со мной.
Мы встретимся однажды на Сенной
и, пары предложений не связав,
раздвинув рты и зубы показав,
расстанемся опять — не навсегда ль? —
и по Садовой зашагает вдаль
мой грозный век, а я, как и всегда,
через канал, неведомо куда.

27

Вот шествие по улице идет
и нас с тобою за собой ведет,
да, нас с тобой, мой невеселый стих.
И все понятней мне желанье их
по улице куда-нибудь плестись,

все отставать и где-то разойтись,
уже навек, чтоб затерялся след,
чтоб вроде бы их не было и нет,
и это не насмешка и не трюк,
но это проще, чем петля и крюк,
а цель одна и в тот и в этот раз,
да, цель одна: пусть не тревожат нас.
Пусть не тревожат нас в осенний день.
Нам нелегко, ведь мы и плоть и тень
одновременно, вместе тень и свет,
считайте так, что нас на свете нет,
что вас толкнула тень, а не плечо.
А нам прожить хотя бы день еще,
мы не помеха, мы забьемся в щель.

А может быть, у них иная цель.

Перед тобою восемь человек,
забудь на миг свой торопливый век
и недоверчивость на время спрячь.
Вон, посмотри, проходит мимо — Плач.

28. ПЛАЧ

В Петербурге сутолка и дрожь,
в переулках судорожный дождь,
вдоль реки по выбоинам скул
пробегает сумеречный гул.

Этот плач по каждому из нас,
это город валится из глаз,
это про-летают у аллей
скомканные луны фонарей.

Это крик по собственной судьбе,
это плач и слезы по себе,
это плач, рыдание без слов,
погребальный звон колоколов.

Словно смерть и жизнь по временам —
это служба вечная по нам,
это вырастают у лица,
как деревья, песенки конца.

Погре-бальный белый пароход,
с полюбовным венчиком из роз,
похо-ронный хор и хоровод,
как Харону дань за перевоз.

Этот стук по нынешним гробам,
это самый новый барабан,
это саксофоны за рекой,
это общий крик за упокой.

Ничего от смерти не убрать.
Отчего так страшно умирать,
неподвижно лежа на спине,
в освещенной вечером стране.

Оттого, что жизни нет конца,
оттого, что сколько ни зови,
все равно ты видишь у лица
тот же лик с глазами нелюбви.

29. Комментарий

Тоска, тоска. Хоть закричать в окно.
На улице становится темно,

и все труднее лица различать,
и все трудней фигуры замечать,
не все ль равно. И нарастает злость.
Перед тобой не шествие, а горсть
измученных и вымокших людей.
И различать их лица все трудней.
Все те же струйки около висков,
все то же тарахтенье башмаков,
тоска ложится поперек лица.
Далёко ли, читатель, до конца.

Тоска, тоска. То тише, то быстрей
вдоль тысячи горящих фонарей,
дождевиков, накидок и пальто,
поблескивая, мечутся авто,
подъезды освещенные шумят,
как десять лет вперед или назад,
и залы театральные поют,
по-прежнему ища себе приют,
по улицам бездомные снуют.

А что бы ты здесь выбрал для себя.
По переулкам, истово трубя,
нестись в автомобиле или вдруг
в знакомый дом, где счастливый твой друг
в прихожей пальцем радостно грозит
за милый неожиданный визит,
а может — с торопливостью дыша,
на хоры подниматься не спеша,
а может быть, оплакивать меня,
по тем же переулкам семеня.

Но плакать о себе — какая ложь!
Как выберешь ты, так и проживешь.
Так научись минутой дорожить,

которую дано тебе прожить,
не успевая все предусмотреть,
в которой можно даже умереть,
побольше думай, друг мой, о себе,
оказываясь в гуще и в гурьбе,
быстрее выбирайся и взгляни
хоть раз — не изнутри — со стороны.

Так выбирай сверкающий подъезд
или пластмассу театральных мест,
иль дом друзей, былое возлюбя.
Но одного не забывай — СЕБЯ.
Окончен день. Но это для него,
да, для полугероя моего.
А здесь все те же длятся чудеса,
здесь, как и прежде, время три часа,
а может быть — часы мои не лгут —
здесь вечность без пятнадцати минут.

Здесь время врет, а рядом вечность бьет,
и льется дождь, и шествие идет
куда-нибудь по-прежнему вперед,
и наш Торговец открывает рот.

30. Романс ТОРГОВЦА

На свете можно все разбить,
возможно все создать,
на свете можно все купить
и столько же продать.

Как просто ставить жизнь в актив,
в пассив поставив кровь,

купив большой презерватив,
любовь и нелюбовь.

Но как бы долго ни корпел,
но сколько б ни копил,
смотри, как мало ты успел,
как мало ты купил.

Твой дом торговый прогорит,
ты выпрыгнешь в окно,
но Кто-то сверху говорит,
что это все равно.

Ох, если б Он не наезжал
по нескольку недель
в бордель, похожий на базар,
и в город — на бордель.

Когда б Он здесь и не бывал,
не приходил во сны,
когда б ГОСПОДЬ НЕ НАБИВАЛ
СТРАНЕ МОЕЙ ЦЕНЫ,

то кто бы взглядывал вперед,
а кто по сторонам,
смотрел бы счастливый народ
назад по временам,

и кто-то б думал обо мне,
и кто-нибудь звонил,
когда бы смерть пришла — в огне
меня бы схоронил,

и пепел по ветру! как пыль,
не ладанку на грудь!

Как будто не было. НО БЫЛ,
но сам таким не будь.

Прощай, мой пасынок, мой сын,
смотри, как я горю,
и взором взглядывай косым
на родину свою.

Над нами время промолчит,
пройдет, не говоря,
и чья-то слава закричит
немая, не моя.

В погонах века своего,
как маленький простак,
вступай, мой пасынок, в него
с улыбкой на устах,

вдыхая сперму и бензин
посередине дня,
входи в великий магазин,
не вспоминай меня.

31. Комментарий

Увы, несчастливый пример
для тех, кто помнить и любить умел
свои несовершенные дела...
Но к нам идет жестокая пора,
идет пора безумного огня.
(О, стилизованный галоп коня,
и пена по блестящим стременам,
и всадник Апокалипсиса — к нам!)

Идет пора... Становится темней.
Взгляни на полуплоть полутеней,
взгляни на шевелящиеся рты —
о, если б хоть таким остался ты.
Ведь, может быть, они — сквозь сотни лет
каких-то полных жизней полусвет.

Огонь. Элементарная стрельба.
Какая элегантная судьба:
лицо на фоне общего гриба,
и небольшая плата наконец
за современный атомный венец
и за прелестный водородный гром...
О, человек наедине со злом!
Вы редко были честными, друзья.
Ни сожалеть, ни плакать здесь нельзя,
отходную столетию не спеть,
хотя бы потому, что не успеть,
хоть потому, что вот мы говорим,
а с одного конца уже горим
и, может статься, завтра этот День.

И кто прочтет мою поэму. Тень.

Огонь, огонь. Столетие — в ружье!
Но — плоть о плоть и влажное белье...
Огонь, огонь. Ты чувствуешь испуг.
...Но темнота и юной плоти стук
в ночи, как современный барабан
перед атакой, и выходит Пан
и не свирель, а флейту достает,
и лес полуразрушенный поет,
растут грибы и плещутся ручьи
сквозь сонные зачатия в ночи.

Играй, играй тревогу и печаль —
кого-нибудь оказывалось жаль,
но было поздно. Видимо, судьба.
И флейта, как архангела труба,
на Страшный Суд меня не позовет.
Вот шествие по улице идет,
и остается пятеро уже.
Так что там у Счастливца на душе.

32. Романс СЧАСТЛИВЦА

Ни родины, ни дома, ни изгнанья,
забвенья — нет, и нет — воспоминанья,
и боли, вызывающей усталость,
из прожитой любови не осталось.

Как быстро возвращаются обратно
встревоженные чувства, и отрадно,
что снова можно радостно и нервно
знакомцу улыбаться ежедневно.

Прекрасная, изысканная мука —
смотреть в глаза возлюбленного друга
на освещенной вечером отчизне
и удивляться продолженью жизни.

Я с каждым днем все чаще замечаю,
что все, что я обратно возвращаю —
то в августе, то летом, то весною, —
какой-то странной блещет новизною.

Но по зиме и по земле холодной
пустым, самоуверенным, свободным
куда как легче, как невозмутимей
искать следы любви невозвратимой.

Но находить — полузнакомых женщин,
тела, дома и голоса без трещин,
себя — бегущим по снегу спортсменом,
всегда себя таким же неизменным.

Какое удивительное счастье
узнать, что ты над прожитым невластен,
что то и называется судьбою,
что где-то протянулось за тобою:
моря и горы — те, что переехал,
твои друзья, которых ты оставил,
и этот день посередине века,
который твою молодость состарил —

всё потому, что, чувствуя поспешность,
с которой смерть приходит временами,
фальшивая и искренняя нежность
кричит, как жизнь, бегущая за нами.

33. Комментарий

Волнение чернеющей листвы,
волненье душ и невское волненье,
и запах загнивающей травы,
и облаков белесое гоненье,
и странная вечерняя тоска,
живущая и замкнуто и немо,
и ровное дыхание стиха,
нежданно посетившее поэму
в осенние недели в октябре, —
мне радостно их чувствовать и слышать,
и снова расставаться на заре,
когда светлеет облако над крышей

и посредине грязного двора
блестит вода, пролившаяся за ночь.
Люблю тебя, рассветная пора,
и облаков стремительную рваность
над непокрытой влажной головой,
и молчаливость окон над Невой,
где все вода вдоль набережных мчится
и вновь не происходит ничего
и далеко, мне кажется, вершится
мой Страшный Суд, суд сердца моего.

Я затянул, что дальше и нельзя.
Но скоро все окончится, друзья.
Да, слишком долго длился мой рассказ —
часы не остановятся для вас.
Что ж, хорошо. И этому я рад.
Мои часы два месяца стоят,
и шествие по улице идет.
Толпа то убывает, то растет,
и, не переставая, дождик льет.
И жизнь шумит и зажигает свет,
и заболевших навещает смерть,
распахивая форточки квартир
и комнаты с багетами картин,
с пюпитрами роялей, с тишиной,
где Дочь с Отцом, где Бедный Муж с Женой
прощаются. И привыкаешь сам
судить по чувствам, а не по часам
бегущий день. И вот уже легко
понять, что до любви недалеко,
что, кажется, войны нам не достать,
до брошенных друзей рукой подать.
Как мало чувств, как мало слез из глаз
меж прежних нас и современных нас.
Так чем же мы теперь разделены

с вчерашним днем. Лишь чувством новизны,
когда над прожитым поплачешь всласть,
над временем захватывая власть.

Октябрь, октябрь, и колотье в боку,
и самое несносное, наверно,
вдруг умереть на левом берегу
реки, среди которой ежедневно
искал и находил кричащих птиц,
и сызнова по набережным бледным
вдоль улочек и выцветших больниц
ты проносился, вздрагивал и медлил.
Октябрь, октябрь. Пойти недалеко
и одинокость выдать за свободу.
Октябрь, октябрь, на родине легко
и без любви прожить четыре года,
цепляться рукавом за каждый куст,
в пустом саду оказываться лишним
и это описанье правды чувств
опять считать занятием невысшим.

34

Все холоднее в комнате моей,
все реже слышно хлопанье дверей
в квартире, засыпающей к обеду,
все чаще письма сыплются соседу,
а у меня — сквозь приступы тоски —
все реже телефонные звонки.
Теперь полгода жить при темноте,
ладони согревать на животе,
писать в обед, пока еще светло,
смотреть в заиндевевшее стекло
и, как ребенку, радоваться дням,

когда знакомцы приезжают к нам.
Настали дни прозрачные, как свист
свирели или флейты. Мертвый лист
настойчиво желтеет меж стволов,
и с пересохших теннисных столов
на берегу среди финляндских дач
слетает век, как целлулойдный мяч.
Так в пригород и сызнова назад.
Приятно возвращаться в Ленинград
из путешествий получасовых
среди кашне, платочков носовых,
среди газет, пальто и пиджаков,
приподнятых до глаз воротников
и с цинковым заливом в голове
пройти у освещенного кафе.

Закончим нашу басню в ноябре.
В осточертевшей, тягостной игре
не те заводки, выкрики не те,
прощай, прощай, мое моралите
(и мысль моя, как белочка и круг).
Какого чорта в самом деле, друг!
Ведь не затем же, чтоб любитель книг
тебе вослед мигнул: Философик! —
и хохотнул, а кто-нибудь с тоской
сочувственно промолвил бы: «на кой».
Так что там о заливе — цвет воды
и по песку замерзшему следы,
рассохшиеся дачные столы,
вода, песок, сосновые стволы,
и ветер все елозит по коре.
Закончим нашу басню в ноябре,
кота любви подтягивай к мешку.

Любовников пропустим по снежку.

35—36. Романсы ЛЮБОВНИКОВ

1

— Нет действия томительней и хуже,
медлительней, чем бегство от любови.
Я расскажу вам басню о союзе,
а время вы подставите любое.

Вот песенка о Еве и Адаме,
вот грезы простолюдина о фее,
вот мадригалы рыцаря о даме
и слезы современного Орфея.

По выпуклости-гладкости асфальта,
по сумраку, по свету Петрограда
гони меня — любовника, страдальца,
любителя, любимчика разлада.

Гони меня, мое повествованье,
подалее от рабства или власти
куда-нибудь — с развалин упованья
на будущие искренние страсти.

Куда-нибудь. Не ведаю. По свету.
Немногое на свете выбирая
из горестей, но радостно по следу,
несчастие по следу посылая.

Как всадники безумные за мною,
из прожитого выстрел за спиною,
так зимняя погоня за любовью
окрашена оранжевою кровью.

Так что же там! Растущее мерцанье,
о Господи, как яростно и быстро.

Не всадника ночное восклицанье,
о Господи, а крик МОТОЦИКЛИСТА.

Так гонятся за нами не по следу —
по возгласу, по выкрику, по визгу,
все вертятся колесики по свету
и фарами выхватывают жизни.

Разгневанным и памятливым оком
оглянешься — и птицею воскреснешь
и обернешься вороном и волком
и ящеркой в развалинах исчезнешь.

И вдруг себя почувствуешь героем,
от страха и от радости присвистни,
как будто домик в хаосе построил
по всем законам статики и жизни.

2

— Бежать, бежать через дома и реки,
и все кричать — мы вместе не навеки,
останься здесь и на плече повисни,
на миг вдвоем посередине жизни.

И шум ветвей как будто шорох платья,
и снег летит, и тишина в квартире,
и горько мне теперь твое объятье,
соединенье в разобщенном мире.

Нет-нет, не плачь, ты все равно уходишь,
когда-нибудь ты все равно находишь
у петроградских тарахтящих ставней
цветов побольше у ограды давней.

И только жизнь меж нас легко проходит
и что-то вновь из наших душ уносит,
и шумный век гудит, как пароходик,
и навсегда твою любовь увозит.

Бежит река, и ты бежишь вдоль брега,
и быстро сердце устает от бега,
и снег кружит у петроградских ставень,
взмахни рукой — теперь ты все оставил.

Нет-нет, не плачь, когда других находят,
пустой рассвет легко в глаза ударит,
нет-нет, не плачь о том, что жизнь проходит
и ничего тебе совсем не дарит.

Всего лишь жизнь. Ну вот, отдай и это,
ты так страдал и так просил ответа,
спокойно спи. Здесь не разлюбят, не разбудят,
как хорошо, что ничего взамен не будет.

37. Комментарий

Любовник-оборотень, где же ты теперь,
куда опять распахиваешь дверь,
в какой парадной сызнова живешь,
в каком окошке вороном поешь.
Все ерунда. Ты в комнате сидишь
с газетой, безучастный к остальному.
Кто говорит, что вороном летишь
и серым волком по лесу ночному.
Все ерунда. Ты, кажется, уснул,
ты в сердце все утраты переставил,
ты, кажется, страданья обманул,
послушному уму их предоставил...

И нет тебя как будто бы меж нас,
и бьют часы о том, что поздний час,
и радио спокойно говорит,
и в коридоре лампочка горит.
Но всякий раз, услышав ночью вой,
я пробуждаюсь в ужасе и страхе:
да, это ты вороной и совой
выпрыгиваешь из дому во мраке.
О чем-нибудь, о чем-нибудь ином,
о чем-нибудь настойчиво и нервно,
о комнате с завешенным окном...
Но в комнате с незапертою дверью
рост крыльев в полуночные часы
и перьев шум. И некуда мне деться,
Любовник-оборотень, Господи спаси,
спаси меня от страшного соседства.

Проходит в коридоре человек,
стучит когтями по паркету птица
и в коридоре выключает свет
и выросшим крылом ко мне стучится.

Явление безумия в ночи,
нежданность и испуганность простится,
не прячься, не юродствуй, не кричи, —
никто теперь в тебе не загостится
подолее, чем нужно небесам,
подолее, чем в ночь под воскресенье,
и вскоре ты почувствуешь и сам,
что бедный ум не стоит опасенья,
что каждому дано не по уму.
Да, скоро ты и в этом разберешься
и к бедному безумью своему
привыкнешь и с соседями сживешься.
Прекрасный собеседник у меня!

Вот птичий клюв и зубы человека,
вот, падая, садясь и семеня,
ко мне, полуптенец, полукалека,
скачками приближается на миг
и шепчет мне и корчится от боли:
— Забавный птенчик в городе возник
из пепла убывающей любови,
ха-ха, а вот и я, и погляди,
потрогай перья на моей груди,
там раньше только волосы росли,
татуировки розами цвели,
а вот глаза — не бойся, идиот...

38

Вот шествие по улице идет,
поэма приближается к концу,
читатель рад, я вижу по лицу.
А, наплевать. Я столько говорил,
прикидывался, умничал, острил
и добавлял искусственно огня...
Но кто-то пишет далее меня.

Вот пешеход по городу кружит,
и снегопад вдоль окон мельтешит,
читатель мой, как заболтались мы,
глядишь — и не заметили зимы.
Пустеть домам, и улицам пустеть,
деревьям, не успевшим облететь,
теперь дрожать, чернеть на холоду,
страдать у перекрестков на виду;
а мы уже торопимся, живем
при полумраке, полумрак жуем,
не отличая полночь от зари,

и целый день не гаснут фонари,
и солнце багровеет в небесах,
и все, кто мог, уехали давно.
По вечерам мы ломимся в кино,
но выходя — мы снова в лапах вьюг.
И птицы унеслись на юг,
и голоса их в Грузии слышны;
одни вороны северу верны,
и в парках, на бульварах городских
теперь мы замечаем только их,
и снова отражается в глазах
их каркающий крестик в небесах,
и снежный город холоден и чист,
как флейты Крысолова свист.

Вот пешеход по городу кружит,
в простом плаще от холода дрожит,
зажав листок в комочек кулака,
он ищет адрес. Он издалека.
Пойдем за ним. Он не заметит нас,
он близорук, а нынче поздний час,
а если спросит — как-то объясним.
Друзья мои, отправимся за ним.

Кого он ищет в городе моем.
Теперь на снежной улочке вдвоем
остались мы. Быть может, подойти.
Но нет. Там постовые впереди.
Так кто же он, бездомный сей юнец.

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Кто хочет, тот послушает конец!

Из Гаммельна до Питера гонец
в полвека не домчится, Боже мой,
в дороге обзаводится семьей
и умирает в полпути, друзья!

В Россию приезжают СЫНОВЬЯ.

39. Романс для КРЫСОЛОВА и ХОРА

Шум шагов,
шум шагов,
бой часов,
                снег летит,
                снег летит
                на карниз.
Если слы-
шишь приглу-
шенный зов,
                то спускай-
                ся по ле-
                стнице вниз.
Город спит,
город спит,
спят дворцы,
                снег летит
                вдоль ночных
                фо-нарей,
город спит,
город спит,
спят отцы,
                обхватив
                животы
                матерей.

В этот час,
в этот час,
в этот миг
над карни-
зами кру-
жится снег,
в этот час
мы ухо-
дим от них,
в этот час
мы ухо-
дим навек.

Нас ведет КРЫСОЛОВ! КРЫСОЛОВ!
вдоль па-не-лей и цин-ковых крыш,
и звенит и летит из углов
СВЕТЛЫЙ ХОР ВОЗВРАТИВШИХСЯ КРЫС

Вечный мальчик,
молодчик,
юнец,
вечный мальчик,
любовник,
дружок,
обер-нись,
огля-нись,
наконец,
как вита-
ет над на-
ми снежок.
За спи-ной
полусвет,
полумрак,
только пят-
нышки, пят-
нышки глаз,

кто б ты ни
был — подлец
иль дурак,
все равно
здесь не вспом-
нят о нас!
Так за флей-
той настой-
чивей мчись,
снег следы
за-метет,
за-несет,
от безумья
забвеньем
лечись!
От забвенья
безумье
спасет.
Так спаси-
бо тебе,
Крысолов,
на чужби-
не отцы
голосят,
так спаси-
бо за слав-
ный улов,
никаких
возвраще-
ний назад.

Как он выглядит — брит или лыс,
наплевать на при-ческу и вид,
но СЧАСТЛИВОЕ ПЕНИЕ КРЫС
как всегда над Россией звенит!

Вот и жизнь,
вот и жизнь
пронеслась,
вот и город
заснежен
и мглист,
только пом-
нишь безум-
ную власть
и безум-
ный уве-
ренный свист.

Так запомни лишь несколько слов:
нас ведет от зари до зари,
нас ведет КРЫСОЛОВ! КРЫСОЛОВ!
нас ведет КРЫСОЛОВ —
повтори.

40. Романс принца ГАМЛЕТА

Как быстро обгоняют нас
возлюбленные наши.
Видит Бог,
но я б так быстро добежать не смог
и до безумья.
Ох, Гораций мой,
мне, кажется, пора домой.
Поля, дома, закат на волоске,
вот Дания моя при ветерке,
Офелия купается в реке.
Я — в Англию.
Мне в Англии НЕ БЫТЬ.
Кого-то своевременно любить,

кого-то своевременно забыть,
кого-то своевременно убить,
и сразу непременная тюрьма —
и спятить своевременно с ума.
Вот Дания. А вот ее король.
Когда-нибудь и мне такая роль...
А впрочем — нет...
Пойду-ка прикурю...

Гораций мой, я в рифму говорю!

Как быстро обгоняют нас
возлюбленные наши.
В час безумья
мне кажется — еще нормален я,
когда давно Офелия моя
лепечет язычком небытия.
Так в час любови, в час безумья — вы,
покинув освещенные дома,
не зная ни безумства, ни любви,
целуете и сходите с ума.

Мне кажется, что сбился мой берет.

Вот кладбище — прекрасный винегрет,
огурчики — налево и направо,
еще внизу,
а сверху мы — приправа.
Не быть иль быть — вопрос прямолинейный
мне задает мой бедный ум, и нервный
все просится ответ: не быть, НЕ БЫТЬ,
кого-то своевременно забыть,
кого-то своевременно любить,
кого-то своевременно... Постой!
Не быть иль быть! — какой-то звук пустой.

Здесь все, как захотелось небесам.
Я, впрочем, говорил об этом сам.
Гораций мой, я верил чудесам,
которые появятся извне.

БЕЗУМИЕ — вот главное во мне.
Позор на Скандинавский мир.

Далёко ль до конца, ВИЛЬЯМ ШЕКСПИР?
Далёко ль до конца, милорд.
Какого чорта, в самом деле...

41. ЧОРТ!

Новобранцы, новобранцы, новобранцы!
ожидается изысканная драка,
принимайте новоявленного братца,
короля и помазанника из мрака.

Вот я снова перед вами — одинокий,
беспокойный и участливый уродец,
тот же самый черно-белый, длинноногий,
одинокий и рогатый полководец.

Перед веком, перед веком, перед Богом,
перед Господом, глупеющим под старость,
перед боем в этом городе убогом
помолитесь, чтобы что-нибудь осталось.

Все, что брошено, оставлено, забыто,
все, что «больше не воротится обратно»,
возвращается в беспомощную битву,
в удивительную битву за утраты.

Как фонарики, фонарики ручные,
словно лампочки на уличных витринах,
наши страсти, как страдания ночные
этой плоти — и пространства поединок.

Так прислушивайтесь к уличному вою,
возникающему сызнова из детства,
это к мертвому торопится живое,
совершается немыслимое бегство.

Что-то рядом затевается на свете,
это снова раздвигаются кровати,
пробуждаются солдаты после смерти,
просыпаются любовники в объятьях.

И поновой зачинаются младенцы,
и поют перед рассветом саксофоны,
и торопятся, торопятся одеться
новобранцы, новобранцы, солдафоны.

Как вам нравится ваш новый полководец!
Как мне нравится построенный народец,
как мне нравятся покойники и дети,
саксофоны и ударник на рассвете!

Потому что в этом городе убогом,
где отправят нас на похороны века,
кроме страха перед дьяволом и Богом,
существует что-то выше человека.

42

Три месяца мне было что любить,
что помнить, что твердить, что торопить,

что забывать на время. Ничего.
Теперь зима и скоро Рождество,
и мы увидим новую толпу.
Давно пора благодарить судьбу
за зрелища, даруемые нам
не по часам, а иногда по дням,
а иногда — как мне — на месяца.
И вот теперь пишу слова конца,
стучит машинка. Смолкший телефон
и я — мы слышим колокольный звон
на площади моей. Звонит собор.
Из коридора долетает спор,
и я слова последние пишу.
Ни у кого прощенья не прошу
за все дурноты. Головы склоня,
молчат герои. Хватит и с меня.

Стучит машинка. Вот и всё, дружок.
В окно летит ноябрьский снежок,
фонарь висячий на углу кадит,
вечерней службы колокол гудит,
шаги моих прохожих замело.
Стучит машинка. Шествие прошло.

сентябрь, октябрь, ноябрь 1961
Ленинград

ЗОФЬЯ

(Поэма)

Глава первая

В Сочельник я был зван на пироги.
За окнами описывал круги
сырой ежевечерний снегопад,
рекламы загорались невпопад,
я к форточке прижался головой:
за окнами маячил постовой.

Трамваи дребезжали в темноту,
вагоны громыхали на мосту,
постукивали льдины о быки,
шуршанье доносилось от реки,
на перекрестке пьяница возник,
еще плотней я к форточке приник.

Дул ветер, развевался снегопад,
маячили в сугробе шесть лопат.
Блестела незамерзшая вода,
прекрасно индевели провода.
Поскрипывал бревенчатый настил.
На перекрестке пьяница застыл.

Все тени за окном учетверя,
качалось отраженье фонаря
у пьяницы как раз над головой.
От будки отделился постовой

и двинулся вдоль стенки до угла,
а тень в другую сторону пошла.

Трамваи дребезжали в темноту,
подрагивали бревна на мосту,
шуршанье доносилось от реки,
мелькали в полутьме грузовики,
такси неслось вдали во весь опор,
мерцал на перекрестке светофор.

Дул ветер, возникавшая метель
подхватывала синюю шинель.
На перекрестке пьяница икал.
Фонарь качался, тень его искал.
Но тень его запряталась в бельё.
Возможно, вовсе не было ее.

Тот крался осторожно у стены,
ничто не нарушало тишины,
а тень его спешила от него,
он крался и боялся одного,
чтоб пьяница не бросился бегом.
Он думал в это время о другом.

Дул ветер, и раскачивался куст,
был снегопад медлителен и густ.
Под снежною завесою сплошной
стоял он, окруженный белизной.
Шел снегопад, и след его исчез,
как будто он явился из небес.

Нельзя было их встречу отвратить,
нельзя было его предупредить,
их трое оказалось. Третий — страх.
Над фонарем раскачивался мрак,

мне чудилось, что близится пурга.
Меж ними оставалось три шага.

Внезапно громко ветер протрубил,
меж ними промелькнул автомобиль,
метнулось белоснежное крыло.
Внезапно мне глаза заволокло,
на перекрестке кто-то крикнул «нет»,
на миг погас и снова вспыхнул свет.

Был перекресток снова тих и пуст,
маячил в полумраке черный куст.
Часы внизу показывали час.
Маячил вдалеке безглавый Спас.
Чернела незамерзшая вода.
Вокруг не видно было ни следа.

Я думаю порой о том, что ночь,
не в силах снегопада превозмочь
и даже ни на четверть, ни на треть,
не в силах сонм теней преодолеть,
который снегопад превозносил,
дает простор для неизвестных сил.

Итак, все было пусто и темно,
еще немного я глядел в окно,
во мраке куст переставал дрожать,
трамваи продолжали дребезжать,
вдали — слегка подрагивал настил.
Я штору потихоньку опустил.

Чуть шелохнулись белые листки.
Мать штопала багровые носки,
отец чинил свой фотоаппарат.
Листал журналы на кровати брат,

а кот на калорифере урчал.
Я галстуки безмолвно изучал.

Царили тишина и полумгла,
ныряла в шерсть блестящая игла,
над ней очки блестели в полумгле,
блестели объективы на столе,
во мраке кот с урчанием дышал,
у зеркала я галстуком шуршал.

Отец чинил свой фотоаппарат,
среди журналов улыбался брат, —
рождественский рассказ о чудесах;
поблескивал за стеклами в часах,
раскачиваясь, бронзовый овал.
У зеркала я галстук надевал.

Мать штопала багровые носки,
блестели календарные листки,
горела лампа в розовом углу,
пятно ее лежало на полу,
из-под стола кошачий взгляд блестел.
У зеркала мой галстук шелестел.

Царила тишина, и кот урчал,
я, в зеркало уставившись, молчал,
дул ветер, завывающий трубой.
И в зеркало внимательно собой,
скользя глазами вверх и вниз,
я молча любовался, как Нарцисс.

Я освещен был только со спины,
черты лица мне были не видны,
белела освещенная рука.
От башмаков и до воротника

глаза движенья стали учащать,
пора мне это было прекращать.

Я задержался в зеркале еще:
блестело освещенное плечо,
я шелковой рубашкой шелестел,
ботинок мой начищенный блестел,
в тени оставшись, чуть мерцал другой,
прекрасен был мой галстук дорогой.

Царили тишина и полумгла.
В каком-то мире двигалась игла,
Бог знает что в журнале брат читал,
отец Бог весть где мыслями витал,
зажав отвертки в розовой руке.
У зеркала стоял я в далеке.

Я думаю, что в зеркале моем
когда-нибудь окажемся втроем
во тьме, среди гнетущей тишины,
откуда-то едва освещены,
я сам и отраженье и тоска —
единственная здесь без двойника.

Бежала стрелка через циферблат,
среди журналов улыбался брат,
издалека к ботинку моему
струился свет, переходя во тьму,
лицо отца маячило в тени,
темнели фотографии родни.

Я, штору отстранив, взглянул в окно:
кружился снег, но не было темно,
кружился над сугробами фонарь,
нетронутый маячил календарь,

маячил вдалеке безглавый Спас,
часы внизу показывали час.

Горела лампа в розовом углу,
и стулья отступали в полумглу,
передо мною мой двойник темнел,
он одевался, голову склоня.
Я поднял взгляд и вдруг остолбенел:
все четверо смотрели на меня.

Отец чинил свой фотоаппарат,
мерцал во тьме неясно циферблат,
брат, лежа на спине, смотрел во мглу,
журнал его валялся на полу,
за окнами творилась кутерьма,
дрожала в абажуре бахрома.

Царили полумрак и тишина,
была на расстоянии слышна
сквозь шерсть носка бегущая игла,
шуршанье доносилось из угла,
мне надоело об одном твердить,
пора мне было в гости уходить.

Я задержался на календаре,
итак, я оказался в январе,
за шторами безмолвствовал фонарь,
молчал передо мною календарь.
Боясь, что год окажется тяжел,
я к выходу из комнаты пошел.

Внезапно что-то стало нарастать,
брат с раскладушки попытался встать,
мать быстро поднялась из-за стола,
и вверх взвилась, упав из рук, игла,

отец схватил свой фотоаппарат,
из-под стола сверкнул кошачий взгляд.

И раздалось скрипение часов,
и лязгнул за спиной моей засов,
я быстро обернулся и застыл:
все в комнате, кому же запирать?
Отец бесшумно штору опустил,
НЕЛЬЗЯ ТЕПЕРЬ ЗАСОВАМ ДОВЕРЯТЬ.

Я пятился, и пятилось окно.
Кот прыгнул в освещенное пятно.
Под потолком, где скапливалась мгла,
сверкала ослепленная игла.
От ужаса я чуть не закричал,
среди журналов мой отец торчал.

Появится ли кто-нибудь меж нас!
Протянется ли что-нибудь из глаз,
похожее на дерево в пыли.
Уста мои разжаться не могли,
в обоях на стене явился мел,
от ужаса я весь окостенел.

Деревья в нашей комнате росли!
ветвями доставая до земли
и также доставая потолка,
вытряхивая пыль из уголка,
но корни их в глазах у нас вились,
вершины в центре комнаты сплелись.

Я вглядывался в комнату трезвей,
все было лишь шуршание ветвей,
ни хвоя, ни листва их не видна,
зима для них была соблюдена,

но ель средь них, по-моему, была,
венчала их блестящая игла.

Два дерева у матери из глаз,
по стольку же у каждого из нас,
но все они различной высоты,
вершины одинаково пусты,
одно иглу имело на конце.
У каждого два дерева в лице.

Все кончилось впотьмах, как началось,
все кончилось, бесшумно улеглось,
и снова воцарилась полумгла,
мелькнула между стульями игла,
я замер в полумраке у окна,
и снова воцарилась тишина.

Игла еще лежала на полу,
брат вздрагивал с журналами в углу,
еще не прояснился циферблат,
отец уже чинил свой аппарат,
засов обратно прыгнул в тишине,
и штора развевалась на окне.

Все кончилось, все быстро улеглось,
вновь каждому занятие нашлось.
Кот сумрачно под лампою лежал,
и свет его прекрасно окружал.
Я штору все пытался разглядеть,
раздумывал: кто мог ее задеть.

Мать молча что-то с пола подняла,
в руках ее опять была игла.
Ладонями провел я по вискам,
игла уже ныряла по носкам,

над ней очки мерцали в полумгле,
блестели объективы на столе.

Дул ветер, и сгущалась темнота,
за окнами гудела пустота,
я вынул из-за форточки вино,
снег бился в ослепленное окно
и издавал какой-то легкий звон,
вдруг зазвонил в прихожей телефон.

И тотчас же, расталкивая тьму,
я бросился стремительно к нему,
забыв, что я кого-то отпустил,
забыв, что кто-то в комнате гостил,
что кто-то за спиной моей вздыхал.
Я трубку снял и тут же услыхал:

— Не будет больше праздников для вас
не будет собутыльников и ваз

не будет вам на родине жилья
не будет поцелуев и белья

не будет именинных пирогов
не будет вам житья от дураков

не будет вам поллюции во сны
не будет вам ни лета ни весны

не будет вам ни хлеба ни питья
не будет вам на родине житья

не будет вам ладони на виски
не будет очищающей тоски

не будет больше дерева из глаз
не будет одиночества для вас

не будет вам страдания и зла
не будет сострадания тепла

не будет вам ни счастья ни беды
не будет вам ни хлеба ни воды

не будет вам рыдания и слез
не будет вам ни памяти ни грез

не будет вам надежного письма
не будет больше прежнего ума.

Со временем утонете во тьме.
Ослепнете. Умрете вы в тюрьме.

Былое оборотится спиной,
подернется реальность пеленой. —

Я трубку опустил на телефон,
но говорил, разъединенный, он.

Я галстук завязал и вышел вон.

Глава вторая

В Сочельник я был зван на пироги.

За окнами описывал круги
сырой ежевечерний снегопад,
рекламы загорались невпопад,
трамваи дребезжали вдалеке,
сворачивали мальчики к реке,
подкатывали вороны к сыскной,
карнизы поражали белизной,
витрины будоражили умы,

волнение по правилам зимы
охватывало город в полутьме,
царило возбуждение в уме,
и лампочки ныряли у ворот
в закрытый снегопадом небосвод.

Фургоны отъезжали в темноту,
трамваи дребезжали на мосту,
царило возбужденье и тоска,
шуршала незамерзшая река,
раскачивался лист календаря,
качалось отраженье фонаря,
метались в полумраке на стене
окно и снегопад наедине.
Качался над сугробами забор,
раскачивался в сумраке собор,
внутри его подрагивал придел,
раскачивался колокол, гудел,
подрагивали стрелки на часах,
раскачивался Бог на небесах.

Раскачивалась штора у плеча,
за окнами двуглавая свеча
раскачивалась с чувством торжества,
раскачивался сумрак Рождества,
кто знает, как раскачивать тоску,
чтоб от прикосновения к виску
раскачивалась штора на окне,
раскачивались тени на стене,
чтоб выхваченный лампочками куст
раскачивался маятником чувств
(смятенье — унижение — и месть)
с той разницей, чтоб времени не счесть,
с той разницей, чтоб времени не ждать,
с той разницей, чтоб чувств не передать.

Чтоб чувства передать через него,
не следовало в ночь под Рождество
вторгаться в наступающую мглу
двуглавыми свечами на углу,
бояться поножовщины и драк,
искусственно расталкивая мрак,
не следовало требовать огня.
Вчерашние — для завтрешнего дня.
Все чувства будут до смерти нужны,
все чувства будут вдруг обнажены
в предчувствии убийственных вестей,
как будто в поножовщине страстей
за вами кто-то гонится вослед.
Напрасно вы не выключили свет!

Сомнамбулою уличных огней,
пристанищем, ристалищем теней,
обителью, где царствует сквозняк,
качался офицерский особняк,
так, если кто-то гонится вослед,
неузнанными в блеске эполет,
затерянными в бездне анфилад,
зажавшими в ладонях шоколад,
обнявшими барочные сосцы,
окажутся пехотные юнцы,
останется непролитой их кровь,
останутся их дамы и любовь,
их яблоки, упавшие из ваз, —
предел недосягаемости ваш.

Кто вздрагивал под вывескою «вход»?
Кто вздрагивал в предчувствии невзгод,
предчувствуя безмерную беду,
кто вздрагивал единожды в году,
кто на душу не принял бы греха,

чья светлая душа была глуха,
кто вовремя уменьшил кругозор,
кто вздрагивал, предчувствуя позор?
Насмешка, издевательство и срам:
предел недосягаемости — храм,
пример несокрушимости — орех,
пример недосягаемости — грех,
предел невозмутимости — бокал
среди несокрушимости зеркал.

Кто выживет в прогулках у Невы,
беспечнее, прекраснее, чем вы,
прелестнее, прекраснее одет,
кто вам не оборотится вослед
с прекрасною улыбкой, никогда
в чьем сердце не оставите следа,
в чьем взоре промелькнет голубизна,
в чьем взоре распластается Нева,
чье черное пальто и синева
останутся когда-нибудь без нас,
в потемках и в присутствии огней,
не чувствуя присутствия теней?
Не чувствуя ни времени, ни дат,
всеобщим Solitude и Soledad,
прекрасною рукой и головой
нащупывая корень мировой,
нащупывать в снегу и на часах,
прекрасной головою в небесах,
устами и коленями — везде
нащупывать безмерные О, Д —
в безмерной ОДинокости Души,
в ДОму своем и далее — в глуши
нащупывать на рОДине весь гОД?
В неверии — о госпОДи, mein Gott,

выискивать не АД уже, но ДА —
нащупывать свой выхОД в никогДА.

Безмолвно наслаждаясь из угла,
все детство наблюдая зеркала,
предел невозмутимости их — пруд,
безмерно обожая изумруд,
ухмылки изумрудные гостей —
достигнувшими возраста страстей,
почувствуем ли спрятанный в них клАД,
присущий только подлинности хлАД,
вокруг него и около кружа,
доподлинным обличьем дорожа,
доподлинно почувствуешь ли в них,
себя уже стократ переменив,
портьеру или штору теребя,
почувствуешь ли в зеркале себя?

Укрыться за торшерами в углу,
укрыться офицером на балу,
смотреть в апоплексический портрет,
какое наслаждение и бред,
на дюреровской лошади верхом
во тьму на искушение грехом,
сжимая поредевшие виски,
въезжая в Апокалипсис тоски,
оглядываться сызнова назад —
внезапно нарастающий азарт
при виде настигающих теней,
и грохот огнедышащих коней,
и алый меч в разверстых небесах
качается, как маятник в часах.

Я вижу свою душу в зеркала,
душа моя неслыханно мала,

не более бумажного листа, —
душа моя неслыханно чиста,
прекрасная душа моя, Господь,
прелестная не менее, чем плоть,
чем далее, тем более для грез
до девочки ты душу превознес, —
прекрасная, как девочка, душа,
ты так же велика, как хороша, —
как девочке присущий оптимизм,
души моей глухой инфантилизм
всегда со мной в полуночной тиши.
За окнами ни плоти, ни души.

За окнами мерцают фонари.
Душа моя безмолвствует внутри,
безмолвствует смятение в умах,
душа моя безмолвствует впотьмах,
безмолвствует за окнами январь,
безмолвствует на стенке календарь,
безмолвствует во мраке снегопад,
неслыханно безмолвствует распад,
в затылке нарастает перезвон,
безмолвствует окно и телефон,
безмолвствует душа моя, и рот
немотствует, безмолвствует народ,
неслыханно безмолвствует зима,
от жизни и от смерти без ума.

В молчании я слышу голоса.
Безмолвствуют святые небеса,
над родиной свисая свысока.
Юродствует земля без языка.
Лишь свету от небес благодаря
мой век от зарожденья фонаря
до апокалиптических коней

одна жестикуляция теней,
белесые запястия и вен
сиреневый узор, благословен
создавший эту музыку без нот,
безногого оракула немот,
дающего на все один ответ:
молчание и непрерывный свет.

В безмолвии я слышу голоса.
Безмолвствуют земля и небеса.
В безмолвии я слышу легкий гуд,
и тени чувств по воздуху бегут.
Вопросы устремленные, как лес,
в прекрасное молчание небес,
как греза о заколотых тельцах,
теснятся в неприкаянных сердцах.
Едва ли взбудоражишь пустоту
молитвой, приуроченной к посту,
прекрасным возвращеньем в отчий дом
и маркой на конвертике пустом,
чтоб чувства, промелькнувшие сквозь ночь,
оделись в серебро авиапочт.

Как будто это ложь, а это труд,
как будто это жизнь, а это блуд,
как будто это грязь, а это кровь,
не грех — но это странная любовь.
Не чудо, но мечта о чудесах,
не праведник, а все ж поторопись
мелькнуть и потеряться в небесах
открыткой в посполитый парадиз,
как будто это ниточка и связь,
как будто, над собою не смеясь,
твердишь себе: вот Бог, а вот порог,
как будто это ты, а это Бог,

как будто век жужжит в его руке,
а жизнь твоя, как Ио, вдалеке.

Чтоб чувства, промелькнувшие сквозь ночь,
укрыли блудных сыновей и дочь
прекрасную и, адрес изменив,
чтоб чувства не усиливали миф,
не следовало в ночь под Рождество
выскакивать из дома своего,
бояться поножовщины и драк,
выскакивать от ужаса во мрак,
не следовало в панике большой
спасаться от погони за душой,
не следовало верить в чудеса,
вопросам устремляться в небеса,
не следовало письма вам писать,
не следовало плоть свою спасать.

Но в ночь под Рождество не повторять
о том, что можно много потерять,
что этого нельзя предотвратить,
чтоб жизнь свою в корову обратить.
Как будто ты ужален и ослеп,
за белою коровой вьется вслед
жужжащая небесная оса,
безмолвствуют святые небеса,
напрасно ты, безмолвствуя, бежал
ужасного, но лучшего из жал,
напрасно ты не чувствуешь одно:
стрАДаний ОДинаково ДАно,
стрАДанье и забвение — труха,
стрАДание не стоило греха.
Почувствуешь ли в панике большой
бессмертную погоню за душой,
погоню, чтобы времени не ждать,

с той выгодой, чтоб чувства передать
в мгновение, схватившее виски,
в твой век по мановению тоски,
чтоб чувства, промелькнувшие сквозь ночь,
оделись в серебро авиапочт.
Предчувствуешь все это в снегопад
в подъезде, петроградский телепат,
и чувства распростертые смешны,
шпагатом от войны и до войны,
он шепчет, огибая Летний сад:
немыслимый мой польский адресат.

Любовь твоя — воспитанница фей,
возлюбленный твой — нынешний Орфей,
и образ твой — фотографа момент,
твой голос — отдаленный диксиленд.
Прогулки в ботаническом саду,
возлюбленного пение в аду,
возлюбленного пение сквозь сон, —
два голоса, звучащих в унисон,
органный замирающий свинец,
венчальные цветы, всему венец,
душа твоя прекрасна и тиха,
душа твоя не ведает греха,
душа твоя по-прежнему в пути,
по-прежнему с любовью во плоти.

Ничто твоей души не сокрушит.
Запомни, что душа твоя грешит!
Душа твоя неслыханно больна.
Запомни, что душа твоя одна.
От свадебного поезда конец
души твоей неслыханный венец,
души твоей венчальные цветы,
блестящие терновые кусты.

Душа твоя грехи тебе простит,
душа тебя до девочки взрастит,
душа твоя смоковницу сожжет,
душа твоя обнимет и солжет,
душа твоя тебя превознесет,
от Страшного Суда душа спасет!

Чье пение за окнами звучит?
Возлюбленный за окнами кричит.
Душа его вослед за ним парит.
Душа его обратно водворит.
Как странно ты впоследствии глядишь.
Действительно, ты странствуешь весь день,
душа твоя вослед тебе, как тень,
по комнате витает, если спишь,
душа твоя впоследствии как мышь.
Впоследствии ты сызнова пловец,
впоследствии «таинственный певец» —
душа твоя не верит в чепуху, —
впоследствии ты странник наверху.

Так, девочкой пожертвовать решась,
любовь твоя, души твоей страшась,
под черными деревьями дрожит,
совсем тебя впоследствии бежит.
На улице за окнами рябя,
там что-то убегает от тебя,
ты смотришь на заржавленный карниз,
ты смотришь не на улицу, а вниз,
ты смотришь из окна любви вослед,
ты видишь сам себя — автопортрет,
ты видишь небеса и тени чувств,
ты видишь диабаз и черный куст,
ты видишь это дерево и ад,
в сей графике никто не виноват.

Кто плотью защищен, как решетом,
за собственной душой как за щитом,
прекрасной задушевностью дыши
за выпуклым щитом своей души.
Вся жизнь твоя, минувшая как сон:
два голоса, звучавших в унисон,
деревьев развевающихся шум,
прекрасными страданьями твой ум
наполненный, как зернами гранат,
впоследствии прекрасный аргонавт,
впоследствии ты царствуешь в умах,
запомни, что ты царствуешь впотьмах,
однако же все время на виду,
запомни, что жена твоя в аду.

Уж лучше без глупца, чем без вруна,
уж лучше без певца, чем без руна,
уж лучше грешным быть, чем грешным слыть,
уж легче утонуть, чем дальше плыть.
Но участи пловца или певца
уж лучше — положиться на гребца.
Твой взор блуждает сумрачен и дик,
доносится до слуха Эвридик
возлюбленного пение сквозь ад,
вокруг него безмолвие и смрад,
вокруг него одни его уста,
вокруг него во мраке пустота,
во мраке с черным деревом в глазу
возлюбленного пение внизу.

Какая наступает тишина
в прекрасном обрамлении окна,
когда впотьмах, недвижимый весь век,
как маятник, качнется человек,

и в тот же час, снаружи и внутри,
возникнет свет, внезапный для зари,
и ровный звон над копьями оград,
как будто это новый циферблат
вторгается, как будто не спеша
над плотью воцаряется душа,
и алый свет, явившийся извне,
внезапно воцаряется в окне,
внезапно растворяется окно,
как будто оживает полотно.

Так шествовал Орфей и пел Христос.
Так странно вам кощунствовать пришлось,
впоследствии нимало не стыдясь.
Прекрасная раскачивалась связь,
раскачивалась, истово гремя,
цепочка между этими двумя.
Так шествовал Христос и пел Орфей,
любовь твоя, воспитанница фей,
от ужаса крича, бежала в степь,
впотьмах над ней раскачивалась цепь,
как будто циферблат и телефон,
впотьмах над ней раскачивался звон,
раскачивался бронзовый овал,
раскачивался смертный идеал.
Раскачивался маятник в холмах,
раскачивался в полдень и впотьмах,
раскачивался девочкой в окне,
раскачивался мальчиком во сне,
раскачивался чувством и кустом,
раскачивался в городе пустом,
раскачивался деревом в глазу,
раскачивался здесь и там, внизу,
раскачивался с девочкой в руках,
раскачивался крик в обиняках,

раскачивался тенью на стене,
раскачивался в чреве и вовне,
раскачивался, вечером бледнел,
при этом оглушительно звенел.

Ты, маятник, душа твоя чиста,
ты маятник от яслей до креста,
как маятник, как маятник другой,
как маятник рука твоя с деньгой,
ты маятник, отсчитывая пядь
от Лазаря к смоковнице и вспять,
как маятник от злости и любви,
ты движешься как маятник в крови.
Ты маятник, страданья нипочем,
ты маятник во мраке ни при чем,
ты маятник и маятнику брат,
твоя душа прекрасный циферблат,
как маятник, чтоб ты не забывал,
лицо твое, как маятник, овал.

Как маятник, то умник, то дурак,
ты маятник от света и во мрак
за окнами, как маятник, рябя, —
зачатие, как маятник, тебя.
Ты маятник, как маятник я сам,
ты маятник по дням и по часам,
как маятник, прости меня, Господь,
как маятник душа твоя и плоть,
ты маятник по каждой голове,
ты маятник — от девочки в траве,
ты маятник внизу и наверху,
ты маятник страданью и греху,
ты маятник от уличных теней
до апокалиптических коней.

КРИК:

Я маятник. Не трогайте меня.
Я маятник для завтрашнего дня.
За будущие страсти не дрожу,
я сам себя о них предупрежу.
Самих себя увидеть в нищете,
самих себя увидеть на щите,
заметить в завсегдатаях больниц
божественная участь единиц.

Признание, награда и венец,
способность предугадывать конец,
достоинство, дарующее власть,
способность, возвышающая страсть,
способность возвышаться невпопад,
как маятник — прекрасный телепат.

Способные висеть на волоске,
способные к обману и тоске,
способные к сношению везде,
способные к опале и звезде,
способные к смешению в крови,
способные к заразе и любви,
напрасно вы не выключили свет,
напрасно вы оставили свой след,
знакомцы ваших тайн не берегут,
за вами ваши чувства побегут.
Что будет поразительней для глаз,
чем чувства, настигающие нас
с намереньем до горла нам достать?
СОВЕТУЮ ВАМ МАЯТНИКОМ СТАТЬ.

апрель 1962

ХОЛМЫ

Вместе они любили
сидеть на склоне холма.
Оттуда видны им были
церковь, сады, тюрьма.
Оттуда они видали
заросший травой водоем.
Сбросив в песок сандалии,
сидели они вдвоем.

Руками обняв колени,
смотрели они в облака.
Внизу у кино калеки
ждали грузовика.
Мерцала на склоне банка
возле кусков кирпича.
Над розовым шпилем банка
ворона вилась, крича.

Машины ехали в центре
к бане по трем мостам.
Колокол звякал в церкви:
электрик венчался там.
А здесь, на холме, было тихо,
ветер их освежал.
Кругом ни свистка, ни крика.
Только комар жужжал.

Трава была там примята,
где сидели они всегда.

Повсюду черные пятна —
оставила их еда.
Коровы всегда это место
вытирали своим языком.
Всем это было известно,
но они не знали о том.

Окурки, спички и вилка
прикрыты были песком.
Чернела вдали бутылка,
отброшенная носком.
Заслышав едва мычанье,
они спускались к кустам
и расходились в молчаньи —
как и сидели там.

*

По разным склонам спускались,
случалось боком ступать.
Кусты перед ними смыкались
и расступались опять.
Скользили в траве ботинки,
меж камней блестела вода.
Один достигал тропинки,
другой в тот же миг пруда.

Был вечер нескольких свадеб
(кажется, было две).
Десяток рубах и платьев
маячил внизу в траве.
Уже закат унимался
и тучи к себе манил.
Пар от земли поднимался,
а колокол все звонил.

Один, кряхтя, спотыкаясь,
другой, сигаретой дымя, —
в тот вечер они спускались
по разным склонам холма.
Спускались по разным склонам,
пространство росло меж них.
Но страшный, одновременно,
воздух потряс их крик.

Внезапно кусты распахнулись,
кусты распахнулись вдруг.
Как будто они проснулись,
а сон их был полон мук.
Кусты распахнулись с воем,
как будто раскрылась земля.

Пред каждым возникли двое,
железом в руках шевеля.
Один топором был встречен,
и кровь потекла по часам,
другой от разрыва сердца
умер мгновенно сам.
Убийцы тащили их в рощу
(по рукам их струилась кровь)
и бросили в пруд заросший.
И там они встретились вновь.

*

Еще пробирались на ощупь
к местам за столом женихи,
а страшную весть на площадь
уже принесли пастухи.
Вечерней зарей сияли

стада густых облаков.
Коровы в кустах стояли
и жадно лизали кровь.

Электрик бежал по склону,
и шурин за ним в кустах.
Невеста внизу обозленно
стояла одна в цветах.
Старуха, укрытая пледом,
крутила пред ней тесьму,
а пьяная свадьба следом
за ними неслась к холму.

Сучья под ними трещали,
они неслись, как в бреду.
Коровы в кустах мычали
и быстро спускались к пруду.
И вдруг все увидели ясно
(царила вокруг жара):
чернела в зеленой ряске,
как дверь в темноту, дыра.

*

Кто их оттуда поднимет,
достанет со дна пруда?
Смерть, как вода, над ними,
в желудках у них вода.
Смерть уже в каждом слове,
в стебле, обвившем жердь.
Смерть в зализанной крови,
в каждой корове смерть.

Смерть в погоне напрасной
(будто ищут воров).

Будет отныне красным
млеко этих коров.
В красном, красном вагоне,
с красных, красных путей,
в красном, красном бидоне —
красных поить детей.

Смерть в голосах и взорах.
Смертью полн воротник. —
Так им заплатит город:
смерть тяжела для них.
Нужно поднять их, поднять бы.
Но как превозмочь тоску:
если убийство в день свадьбы,
красным быть молоку.

*

Смерть — не скелет кошмарный
с длинной косой в росе.
Смерть — это тот кустарник,
в котором стоим мы все.
Это не плач похоронный,
а также не черный бант.
Смерть — это крик вороний,
черный — на красный банк.

Смерть — это все машины,
это тюрьма и сад.
Смерть — это все мужчины,
галстуки их висят.
Смерть — это стекла в бане,
в церкви, в домах — подряд!

Смерть — это всё, что с нами, —
ибо они — не узрят.

Смерть — это наши силы,
это наш труд и пот.
Смерть — это наши жилы,
наша душа и плоть.
Мы больше на холм не выйдем.
В наших домах огни.
Это не мы их не видим —
нас не видят они.

*

Розы, герань, гиацинты,
пионы, сирень, ирис —
на страшный их гроб из цинка —
розы, герань, нарцисс,
лилии, словно из басмы,
запах их прян и дик,
левкой, орхидеи, астры,
розы и сноп гвоздик.

Прошу отнести их к брегу,
вверить их небесам.
В реку их бросить, в реку,
она понесет к лесам.
К черным лесным протокам,
к темным лесным домам,
к мертвым полесским топям,
вдаль — к балтийским холмам.

*

Холмы — это наша юность,
гоним ее, не узнав.

Холмы — это сотни улиц.
Холмы — это сонм канав.
Холмы — это боль и гордость.
Холмы — это край земли.
Чем выше на них восходишь,
тем больше их видишь вдали.
Холмы — это наши страданья.
Холмы — это наша любовь.
Холмы — это крик, рыданье,
уходят, приходят вновь.
Свет и безмерность боли,
наша тоска и страх,
наши мечты и горе,
все это — в их кустах.

Холмы — это вечная слава.
Ставят всегда напоказ
на наши страданья право.
Холмы — это выше нас.
Всегда видны их вершины,
видны средь кромешной тьмы.
Присно, вчера и ныне
по склону движемся мы.
Смерть — это только равнины.
Жизнь — холмы, холмы.

1962

ОТ ОКРАИНЫ К ЦЕНТРУ

Вот я вновь посетил
эту местность любви, полуостров заводов,
парадиз мастерских и аркадию фабрик,
рай речных пароходов,
я опять прошептал:
вот я снова в младенческих ларах.
Вот я вновь пробежал Малой Охтой сквозь тысячу
арок.

Предо мною река
распласталась под каменно-угольным дымом,
за спиною трамвай
прогремел на мосту невредимом,
и кирпичных оград
просветлела внезапно угрюмость.
Добрый день, вот мы встретились, бедная юность.

Джаз предместий приветствует нас,
слышишь трубы предместий,
золотой диксиленд
в черных кепках прекрасный, прелестный,
не душа и не плоть —
чья-то тень над родным патефоном,
словно платье твое вдруг подброшено вверх
саксофоном.

В ярко-красном кашне
и в плаще в подворотнях, в парадных
ты стоишь на виду
на мосту возле лет безвозвратных,

прижимая к лицу
недопитый стакан лимонада,
и ревет позади дорогая труба комбината.

Добрый день. Ну и встреча у нас.
До чего ты бесплотна:
рядом новый закат
гонит вдаль огневые полотна.
До чего ты бедна. Столько лет,
а промчались напрасно.
Добрый день, моя юность. Боже мой, до чего ты
прекрасна.

По замерзшим холмам
молчаливо несутся борзые,
среди красных болот
возникают гудки поездные,
на пустое шоссе,
пропадая в дыму редколесья,
вылетает такси, и осины глядят в поднебесье.

Это наша зима.
Современный фонарь смотрит мертвенным оком,
предо мною горят
ослепительно тысячи окон.
Возвышаю свой крик,
чтоб с домами ему не столкнуться:
это наша зима все не может обратно вернуться.

Не до смерти ли, нет,
мы ее не найдем, не находим.
От рожденья на свет
ежедневно куда-то уходим,
словно кто-то вдали
в новостройках прекрасно играет.
Разбегаемся все. Только смерть нас одна собирает.

Значит, нету разлук.
Существует громадная встреча.
Значит, кто-то нас вдруг
в темноте обнимает за плечи,
и полны темноты,
и полны темноты и покоя,
мы все вместе стоим над холодной блестящей рекою.

Как легко нам дышать,
оттого, что, подобно растенью,
в чьей-то жизни чужой
мы становимся светом и тенью,
или больше того —
оттого, что мы все потеряем,
отбегая навек, мы становимся смертью и раем.

Вот я вновь прохожу
в том же светлом раю — с остановки налево,
предо мною бежит,
закрываясь ладонями, новая Ева,
ярко-красный Адам
вдалеке появляется в арках,
невский ветер звенит заунывно в развешанных арфах.

Как стремительна жизнь
в черно-белом раю новостроек.
Обвивается змей,
и безмолвствует небо героик,
ледяная гора
неподвижно блестит у фонтана,
вьется утренний снег, и машины летят неустанно.

Неужели не я,
освещенный тремя фонарями,
столько лет в темноте

по осколкам бежал пустырями,
и сиянье небес
у подъемного крана клубилось?
Неужели не я? Что-то здесь навсегда изменилось.

Кто-то новый царит,
безымянный, прекрасный, всесильный,
над отчизной горит,
разливается свет темно-синий,
и в глазах у борзых
мельтешат фонари — по цветочку,
кто-то вечно идет возле новых домов в одиночку.

Значит, нету разлук.
Значит, зря мы просили прощенья
у своих мертвецов.
Значит, нет для зимы возвращенья.
Остается одно:
по земле проходить бестревожно.
Невозможно отстать. Обгонять — только это
возможно.

То, куда мы спешим,
этот ад или райское место,
или попросту мрак,
темнота, это все неизвестно,
дорогая страна,
постоянный предмет воспеванья,
не любовь ли она? Нет, она не имеет названья.

Это — вечная жизнь:
поразительный мост, неумолчное слово,
проплыванье баржи,
оживленье любви, убиванье былого,
пароходов огни

и сиянье витрин, звон трамваев далеких,
плеск холодной воды возле брюк твоих вечношироких.

Поздравляю себя
с этой ранней находкой, с тобою,
поздравляю себя
с удивительно горькой судьбою,
с этой вечной рекой,
с этим небом в прекрасных осинах,
с описаньем утрат за безмолвной толпой магазинов.

Не жилец этих мест,
не мертвец, а какой-то посредник,
совершенно один
ты кричишь о себе напоследок:
никого не узнал,
обознался, забыл, обманулся,
слава Богу, зима. Значит, я никуда не вернулся.

Слава Богу, чужой.
Никого я здесь не обвиняю.
Ничего не узнать.
Я иду, тороплюсь, обгоняю.
Как легко мне теперь,
оттого, что ни с кем не расстался.
Слава Богу, что я на земле без отчизны остался.

Поздравляю себя!
Сколько лет проживу, ничего мне не надо.
Сколько лет проживу,
сколько дам за стакан лимонада.
Сколько раз я вернусь —
но уже не вернусь — словно дом запираю,
сколько дам я за грусть от кирпичной трубы
и собачьего лая.

1962

БОЛЬШАЯ ЭЛЕГИЯ ДЖОНУ ДОННУ

Джон Донн уснул. Уснуло все вокруг.
Уснули стены, пол, постель, картины,
уснули стол, ковры, засовы, крюк,
весь гардероб, буфет, свеча, гардины.
Уснуло все. Бутыль, стакан, тазы,
хлеб, хлебный нож, фарфор, хрусталь, посуда,
ночник, белье, шкафы, стекло, часы,
ступеньки лестниц, двери. Ночь повсюду.
Повсюду ночь: в углах, в глазах, в белье,
среди бумаг, в столе, в готовой речи,
в ее словах, в дровах, в щипцах, в угле
остывшего камина, в каждой вещи.
В камзоле, в башмаках, в чулках, в тенях
за зеркалом, в кровати, в спинке стула,
опять в тазу, в распятьи, в простынях,
в метле у входа, в туфлях. Все уснуло.
Уснуло все. Окно. И снег в окне.
Соседней крыши белый скат. Как скатерть
ее конек. И весь квартал во сне,
разрезанный оконной рамой насмерть.
Уснули стены, арки, окна, всё.
Булыжники, торцы, решетки, клумбы.
Не вспыхнет свет, не скрипнет колесо...
Ограды, украшенья, цепи, тумбы.
Уснули двери, кольца, ручки, крюк,
замки, засовы, их ключи, запоры.
Нигде не слышен шепот, шорох, стук.
Лишь снег скрипит. Все спят. Рассвет не скоро.
Уснули тюрьмы, замки. Спят весы

средь рыбной лавки. Спят свиные туши.
Дома, задворки. Спят цепные псы.
В подвалах кошки спят, торчат их уши.
Спят мыши, люди. Лондон крепко спит.
Спит парусник в порту. Вода со снегом
под кузовом его во сне сипит,
сливаясь вдалеке с уснувшим небом.
Джон Донн уснул. И море вместе с ним.
И берег меловой уснул над морем.
Весь остров спит, объятый сном одним.
И каждый сад закрыт тройным запором.
Спят клены, сосны, грабы, пихта, ель.
Спят склоны гор, ручьи на склонах, тропы.
Лисица, волк. Залез медведь в постель.
Наносит снег у входов нор сугробы.
И птицы спят. Не слышно пенья их.
Вороний крик не слышен, ночь, совиный
не слышен смех. Простор английский тих.
Звезда сверкает. Мышь идет с повинной.
Уснуло все. Лежат в своих гробах
все мертвецы. Спокойно спят. В кроватях
живые спят в морях своих рубах.
Поодиночке. Крепко. Спят в объятьях.
Уснуло все. Спят реки, горы, лес.
Спят звери, птицы, мертвый мир, живое.
Лишь белый снег летит с ночных небес.
Но спят и там, у всех над головою.
Спят ангелы. Тревожный мир забыт
во сне святыми — к их стыду святому.
Геенна спит, и Рай прекрасный спит.
Никто не выйдет в этот час из дому.
Господь уснул. Земля сейчас чужда.
Глаза не видят, слух не внемлет боле.
И дьявол спит. И вместе с ним вражда
заснула на снегу в английском поле.

Спят всадники. Архангел спит с трубой.
И кони спят, во сне качаясь плавно.
И херувимы все — одной толпой,
обнявшись, спят под сводом церкви Павла.
Джон Донн уснул. Уснули, спят стихи.
Все образы, все рифмы. Сильных, слабых
найти нельзя. Порок, тоска, грехи,
равно тихи, лежат в своих силлабах.
И каждый стих с другим как близкий брат,
хоть шепчет другу друг: чуть-чуть подвинься.
Но каждый так далек от райских врат,
так беден, пуст, так чист, что в них — единство.
Все строки спят. Спит ямбов строгий свод.
Хореи спят, как стражи, слева, справа.
И спит виденье в них летейских вод.
И крепко спит за ним другое — слава.
Спят беды все. Страданья крепко спят.
Пороки спят. Добро со злом обнялось.
Пророки спят. Белесый снегопад
в пространстве ищет черных пятен малость.
Уснуло все. Спят крепко стопы книг.
Спят реки слов, покрывшись льдом забвенья.
Спят речи все, со всею правдой в них.
Их цепи спят; чуть-чуть звенят их звенья.
Уснуло все: святые, дьявол, Бог.
Их слуги злые, их друзья, их дети.
И только снег шуршит во тьме дорог.
И больше звуков нет на белом свете.

Но чу! Ты слышишь — там, в холодной тьме,
там кто-то плачет, кто-то шепчет в страхе.
Там кто-то предоставлен всей зиме.
И плачет он. Там кто-то есть во мраке.
Так тонок голос! Тонок, впрямь игла.
А нити нет... И так он одиноко

плывет в снегу. Повсюду холод, мгла...
Сшивая ночь с рассветом... Так высоко!
«Кто ж там рыдает? Ты ли, ангел мой,
возврата ждешь, под снегом ждешь, как лета,
любви моей?.. Во тьме идешь домой.
Не ты ль кричишь во мраке?» — Нет ответа.
«Не вы ль там, херувимы? Грустный хор
напомнило мне этих слез звучанье.
Не вы ль решились спящий мой собор
покинуть вдруг? Не вы ль? Не вы ль?» —
Молчанье.
«Не ты ли, Павел? Правда, голос твой
уж слишком огрублен суровой речью.
Не ты ль поник во тьме седой главой
и плачешь там?» — Но тишь летит навстречу.
«Не та ль во тьме прикрыла взор рука,
которая повсюду здесь маячит?
Не Ты ль, Господь? Пусть мысль моя дика,
но слишком уж высокий голос плачет».
Молчанье. Тишь. — «Не ты ли, Гавриил,
подул в трубу, а кто-то громко лает?
Но что ж лишь я один глаза открыл,
а всадники своих коней седлают.
Всё крепко спит. В объятьях крепкой тьмы.
А гончие уж мчат с небес толпою.
Не ты ли, Гавриил, среди зимы
рыдаешь тут, один, впотьмах, с трубою?»
«Нет, это я, твоя душа, Джон Донн.
Здесь я одна скорблю в небесной выси
о том, что создала своим трудом
тяжелые, как цепи, чувства, мысли.
Ты с этим грузом мог вершить полет
среди страстей, среди грехов и выше.
Ты птицей был и видел свой народ
повсюду, весь, взлетал над скатом крыши.

Ты видел все моря, весь дальний край.
И Ад ты зрел — в себе, а после — в яви.
Ты видел так же явно светлый Рай
в печальнейшей — из всех страстей — оправе.
Ты видел: жизнь, она как остров твой.
И с Океаном этим ты встречался:
со всех сторон лишь тьма, лишь тьма и вой.
Ты Бога облетел и вспять помчался.
Но этот груз тебя не пустит ввысь,
откуда этот мир — лишь сотня башен
да ленты рек, и где, при взгляде вниз,
сей Страшный Суд почти совсем не страшен.
И климат там недвижен, в той стране.
Оттуда всё, как сон больной в истоме.
Господь оттуда — только свет в окне
туманной ночью в самом дальнем доме.
Поля бывают. Их не пашет плуг.
Года не пашет. И века не пашет.
Одни леса стоят стеной вокруг,
и только дождь в траве огромной пляшет.
Тот первый дровосек, чей тощий конь
вбежит туда, плутая в страхе чащей,
на сосну взлезши, вдруг узрит огонь
в своей долине, там, вдали лежащей.
Всё, всё вдали. А здесь неясный край.
Спокойный взгляд скользит по дальним крышам.
Здесь так светло. Не слышен псиный лай.
И колокольный звон совсем не слышен.
И он поймет, что всё — вдали. К лесам
он лошадь повернет движеньем резким.
И тотчас вожжи, сани, ночь, он сам
и бедный конь — все станет сном библейским.
Ну вот, я плачу, плачу, нет пути.
Вернуться суждено мне в эти камни.
Нельзя прийти туда мне во плоти.

Лишь мертвой суждено взлететь туда мне.
Да, да, одной. Забыв тебя, мой свет,
в сырой земле забыв навек, на муку
бесплодного желанья плыть вослед,
чтоб сшить своею плотью, сшить разлуку.
Но чу! пока я плачем твой ночлег
смущаю здесь, — летит во тьму, не тает,
разлуку нашу здесь сшивая, снег,
и взад-вперед игла, игла летает.
Не я рыдаю — плачешь ты, Джон Донн.
Лежишь один, и спит в шкафах посуда,
покуда снег летит на спящий дом,
покуда снег летит во тьму оттуда».

Подобье птиц, он спит в своем гнезде,
свой чистый путь и жажду жизни лучшей
раз навсегда доверив той звезде,
которая сейчас сокрыта тучей.
Подобье птиц, душа его чиста;
а светский путь, хотя, должно быть, грешен,
естественней вороньего гнезда
над серою толпой пустых скворешен.
Подобье птиц, и он проснется днем.
Сейчас — лежит под покрывалом белым,
покуда сшито снегом, сшито сном
пространство меж душой и спящим телом.
Уснуло все. Но ждут еще конца
два-три стиха и скалят рот щербато,
что светская любовь — лишь долг певца,
духовная любовь лишь плоть аббата.
На чье бы колесо сих вод ни лить,
оно все тот же хлеб на свете мелет.
Ведь если можно с кем-то жизнь делить,
то кто же с нами нашу смерть разделит?
Дыра в сей ткани. Всяк, кто хочет, рвет.

Со всех концов. Уйдет. Вернется снова.
Еще рывок! И только небосвод
во мраке иногда берет иглу портного.
Спи, спи, Джон Донн. Усни, себя не мучь.
Кафтан дыряв, дыряв. Висит уныло.
Того гляди, и выглянет из туч
звезда, что столько лет твой мир хранила.

7 марта 1963

ИСААК И АВРААМ

М.Б.

«Идем, Исак. Чего ты встал? Идем».
«Сейчас иду». — Ответ средь веток мокрых
ныряет под ночным густым дождем,
как быстрый плот — туда, где гаснет окрик.

По-русски Исаак теряет звук.
Ни тень его, ни дух (стрела в излете)
не ропщут против буквы вместо двух
в пустых устах (в его последней плоти).
Другой здесь нет — пойди ищи-свищи.
И этой также — капли, крошки, малость.
Исак вообще огарок той свечи,
что всеми Исааком прежде звалась.
И звук вернуть возможно — лишь крича:
«Исак! Исак!» — и эхо справа, слева:
«Исак! Исак!» — и в тот же миг свеча
колеблет ствол, и пламя рвется к небу.

Совсем иное дело — Авраам.
Холмы, кусты, врагов, друзей составить
в одну толпу, кладбища, ветки, храм —
и всех затем к нему воззвать заставить —
ответа им не будет. Будто слух
от мозга заслонился стенкой красной
с тех пор, как он утратил гласный звук
и странно изменился шум согласной.
От сих потерь он, вместо града стрел,

в ответ им шлет молчанье горла, мозга.
Здесь не свеча — здесь целый куст сгорел.
Пук хвороста. К чему здесь ведра воска?

«Идем же, Исаак». — «Сейчас иду».
«Идем быстрей». — Но медлит тот с ответом.
«Чего ты там застрял?» — «Постой». — «Я жду».
(Свеча горит во мраке полным светом.)
«Идем. Не отставай». — «Сейчас, бегу».
С востока туч ползет немое войско.
«Чего ты встал?» — «Глаза полны песку».
«Не отставай». — «Нет, нет». — «Иди, не бойся».

В пустыне Исаак и Авраам
четвертый день пешком к святому месту
идут одни по всем пустым холмам,
что зыблются сродни (под ними) тесту.
Но то песок. Один густой песок.
И в нем трава (коснись — обрежешь палец),
чей корень — если б был — давно иссох.
Она бредет с песком, трава-скиталец.
Ее ростки имеют бледный цвет.
И то сказать — откуда брать ей соки?
В ней, как в песке, ни капли влаги нет.
На вкус она — сродни лесной осоке.
Кругом песок. Холмы песка. Поля.
Холмы песка. Нельзя их счесть, измерить.
Верней — моря. Внизу, на дне, земля.
Но в это трудно верить, трудно верить.
Холмы песка. Барханы — имя им.
Пустынный свод небес кружит над ними.
Шагает Авраам. Вослед за ним
ступает Исаак в простор пустыни.
Садится солнце, в спину бьет отца.

Кружит песок. Прибавил ветер скорость.
Холмы, холмы. И нету им конца.
«Сынок, дрова с тобою?» — «Вот он, хворост».
Волна пришла и вновь уходит вспять,
как долгий разговор смолкает сразу,
от берега отняв песчинку, пядь —
остатком мысли — нет, остатком фразы.
Но здесь нет брега, только мелкий след
двух путников рождает сходство с кромкой
песка прибрежной, — только сбоку нет
прибрежной пенной ленты — нет, хоть скромной.
Нет, здесь валы темны, светлы, черны.
Здесь море справа, слева, сзади, всюду.
И путники сии — челны, челны,
волна глотает след, вздымает судно.
«А трут, отец, с тобою?» — «Вот он, трут».
Не видно против света, смутно эдак...
Обоих их склоняя, спины трут
сквозь ткань одежд вязанки темных веток.
Но Авраам несет еще и мех
с густым вином, а Исаак в дорогу,
колодцы встретив, воду брал из всех.
На что они сейчас похожи сбоку?
С востока туча застит свод небес.
Выдергивает ветер пики, иглы.
Зубчатый фронт, как будто черный лес
над Исааком, все стволы притихли.
Просветы гаснут. Будто в них сошлись
лесные звери — спины свет закрыли.
Сейчас они — по вертикали вниз
помчат к пескам, раскинут птицы крылья.
И лес растет. Вершины вверх ползут...
И путники плывут, как лодки в море.
Барханы их внизу во тьму несут.
Разжечь костер им здесь придется вскоре.

Еще я помню: есть одна гора.
Там есть тропа, цветущих вишен арка
висит над ней, и пар плывет с утра:
там озеро в ее подножьи, largo
волна шуршит, и слышен шум травы.
Тропа пуста, там нет следов часами.
На ней всегда лежит лишь тень листвы,
а осенью — ложатся листья сами.
Крадется пар, вдали блестит мысок,
беленый ствол грызут лесные мыши,
и ветви, что всегда глядят в песок,
склоняются к нему, все ближе, ниже.
Как будто жаждут знать, что стало тут,
в песке тропы, с тенями их родными,
глядят в упор и как-то вниз растут,
сливаясь на тропе навечно с ними.
Пчела жужжит, блестит озерный круг,
плывет луна меж тонких веток ночью,
тень листьев двух, как цифра 8, вдруг
в безумный счет ввергает быстро рощу.

Внезапно Авраам увидел куст.
Густые ветви стлались низко-низко.
Хоть горизонт, как прежде, был здесь пуст,
но это означало: цель их близко.
«Здесь недалеко», — куст шепнул ему
почти в лицо, но Авраам, однако,
не подал виду и шагнул во тьму.
И точно — Исаак не видел знака.
Он, голову подняв, смотрел туда,
где обнажались корни чащи мрачной,
разросшейся над ним, — и там звезда
средь них (корней) зажгла свой свет прозрачный.
Еще одна. Минуя их, вдали
комки «земли» за «корнем» плыли слепо.

И наконец они над ним прошли.
Виденье леса прочь исчезло с неба.
И только вот теперь он в двух шагах
заметил куст (к отцу почуяв зависть).
Он бросил хворост, стал и сжал в руках
бесцветную листву, в песок уставясь.

По сути дела куст похож на всё.
На тень шатра, на грозный взрыв, на ризу,
на дельты рек, на луч, на колесо —
но только ось его придется книзу.
С ладонью сходен, сходен с плотью всей.
При беглом взгляде ленты вен мелькают.
С народом сходен — весь его рассей,
но он со свистом вновь свой ряд смыкает.
С ладонью сходен, сходен с сотней рук.
(Со всею плотью — нет в нем только речи,
но тот же рост, но тот же мир вокруг.)
Весною в нем повсюду свечи, свечи.
«Идем скорей». — «Постой». — «Идем». —
«Сейчас».
«Идем, не стой». — (под шапку, как под крышу).
«Давай скорей». — (упрятать каждый глаз).
«Идем быстрей. Пошли». — «Сейчас». —
«Не слышу».
Он схож с гнездом, во тьму его птенцы,
взмахнув крылом зеленым, мчат по свету.
Он с кровью схож — она во все концы
стремит свой бег (хоть в нем возврата нету).
Но больше он всего не с телом схож,
а схож с душой, с ее путями всеми.
Движенье в них, в них точно та же дрожь.
Смыкаются они, а что в их сени?
Смыкаются и вновь спешат назад.
Пресечь они друг друга здесь не могут.

Мешаются в ночи, вблизи скользят.
Изогнуты суставы, лист изогнут.
Смыкаются и тотчас вспять спешат,
ныряют в темноту, в пространство, в голость,
а те, кто жаждет прочь, — тотчас трещат
и падают — и вот он, хворост. Хворост.
И вновь над ними ветер мчит, свистя.
Оставшиеся — вмиг — за первой веткой
склоняются назад, шурша, хрустя,
гонимые в клубок пружиной некой.
Все жаждет жизни в этом царстве чувств:
как облик их, с кустом пустынным схожий,
колеблет ветер здесь не темный куст,
но жизни вид, по всей земле прохожий.
Не только облик (чувств) — должно быть, весь
огромный мир — грубей, обширней, тоньше,
стократ сильней, пышней — столпился здесь.
«Эй, Исаак. Чего ты встал? Идем же».
Кто? Куст. Что? Куст. В нем больше нет корней.
В нем сами буквы больше слова, шире.
«К» с веткой схоже, «У» — еще сильней.
Лишь «С» и «Т» в другом каком-то мире.
У ветки «К» отростков только два,
а ветка «У» — всего с одним суставом.
Но вот урок: пришла пора слова
учить по форме букв, в ущерб составам.
«Эй, Исаак!» — «Сейчас, иду. Иду».
(Внутри него горячий пар скопился.
Он на ходу поднес кувшин ко рту,
но поскользнулся, — тот упал, разбился.)
Ночь. Рядом с Авраамом Исаак
ступает по барханам в длинном платье.
Взошла луна, и каждый новый шаг
сверкает как сребро в песчаном злате.
Холмы. Холмы. Не видно им конца.

Не видно здесь нигде предметов твердых.
Все зыбко, как песок, как тень отца.
Неясный гул растет в небесных сверлах.
Блестит луна, синеет густо даль.
Сплошная тишь, исчез бесследно ветер.
«Далеко ль нам, отец?» — «О нет, едва ль», —
не глядя, Авраам тотчас ответил.
С бархана на бархан и снова вниз,
по сторонам поспешным шаря взглядом,
они бредут. Кусты простерлись ниц, —
но всё молчат: они идут ведь рядом.
Но Аврааму ясно все и так:
они пришли, он туфлей ямки роет.
Шуршит трава. Теперь идти пустяк.
Они себе вот здесь ночлег устроят.
«Эй, Исаак. Ты вновь отстал. Я жду».
Он так напряг глаза, что воздух сетчат
почудился ему — и вот: «Иду.
Мне показалось, куст здесь что-то шепчет».
«Идем же». — Авраам прибавил шаг.
Луна горит. Все небо в ярких звездах
молчит над ним. Простор звенит в ушах.
Но это только воздух, только воздух.
Песок и тьма. Кусты простерлись ниц.
Все тяжелей влезать им с каждым разом.
Бредут, склонясь. Совсем не видно лиц.
...И Авраам вязанку сбросил наземь.

Они сидят. Меж них горит костер.
Глаза слезятся, дым клубится едкий,
а искры прочь летят в ночной простор.
Ломает Исаак сухие ветки.
Став на колени, их, склонясь вперед,
подбросить хочет: пламя стало утлым.
Но за руку его отец берет:

«Оставь его, нам хворост нужен утром.
Нарви травы». — Устало Исаак
встает и, шевеля с трудом ногами,
бредет в барханы, где бездонный мрак
со всех сторон, а сзади гаснет пламя.
Отломленные ветки мыслят: смерть
настигла их — теперь уж только время
разлучит их не то, что плоть, а твердь;
однако здесь их ждет иное бремя.
Отломленные ветви мертвым сном
почили здесь — в песке нагретом, светлом.
Но им еще придется стать огнем,
а вслед за этим новой плотью — пеплом.
И лишь когда весь пепел в пыль сотрут
лавины сих песчаных орд и множеств, —
тогда они, должно быть, впрямь умрут,
исчезнув, сгинув, канув, изничтожась.
Смерть разная и эти ветви ждет.
Отставшая от леса стая волчья
несется меж ночных пустот, пустот,
и мечутся во мраке ветви молча.

Вернулся Исаак, неся траву.
На пальцы Авраам накинул тряпку:
«Подай сюда. Сейчас ее порву». —
И быстро стал крошить в огонь охапку.
Чуть-чуть светлей. Исчез из сердца страх.
Затем раздул внезапно пламя ветер.
«Зачем дрова нам утром?» — Исаак
потом спросил, и Авраам ответил:
«Затем, зачем вообще мы шли сюда
(ты отставал и все спешил вдогонку,
но, так как мы пришли, прошла беда), —
мы завтра здесь должны закласть ягненка.
Не видел ты алтарь там, как ходил

искать траву?» — «Да что там можно видеть?
Там мрак такой, что я от страха стыл.
Один песок». — «Ну ладно, хочешь выпить?»
И вот уж Авраам сжимает мех
своей рукой, и влага льется в горло;
глаза же Исаака смотрят вверх:
там все сильней гудят, сверкая, сверла.
«Достаточно», — и он отсел к огню,
отерши рот коротким жестом пьяниц.
Уж начало тепло склонять ко сну.
Он поднял взгляд во тьму: «А где же агнец?»
Огонь придал неясный блеск глазам,
услышал он ответ (почти что окрик):
«В пустыне этой... Бог ягненка Сам
найдет себе... Господь, он Сам усмотрит...»
Горит костер. В глазах отца янтарь.
Играет взгляд с огнем, а пламя — с взглядом.
Блестит звезда. Все ближе сонный царь
подходит к Исааку. Вот он рядом.
«Там жертвенник давнишний. Сложен он
давным-давно... Не помню кем, однако».
Холмы песка плывут со всех сторон,
как прежде, — будто куст не подал знака.

Горит костер. Вернее, дым к звезде
сквозь толщу пепла рвется вверх натужно.
Уснули все и вся. Покой везде.
Не спит лишь Авраам. Но так и нужно.
Спит Исаак и видит сон такой:
безмолвный куст пред ним ветвями машет,
он сам коснуться хочет их рукой,
но каждый лист пред ним смятенно пляшет.
Кто: Куст. Что: Куст. В нем больше нет корней.
В нем сами буквы — больше слова, шире.
«К» с веткой схоже, «У» — еще сильней.

Лишь «С» и «Т» в другом каком-то мире.
Пред ним все ветви, все пути души,
смыкаются, друг друга бьют, толпятся.
В глубоком сне, во тьме, в сплошной тиши,
сгибаются, мелькают, ввысь стремятся.
И вот пред ним иголку куст вознес.
Он видит дальше: там, где смутно, мглисто,
тот хворост, что он сам сюда принес,
срастается с живою веткой быстро.
И ветви всё длинней, длинней, длинней,
к его лицу листва все ближе, ближе.
Земля блестит, и пышный куст над ней
возносится пред ним во тьму все выше.
Что ж «С» и «Т» — а КУст пронзает хмарь.
Что ж «С» и «Т» — все ветви рвутся в танец.
Но вот он понял: «Т» — алтарь, алтарь,
а «С» на нем лежит, как в путах агнец.
Так вот что КУСТ: К, У, и С, и Т.
Порывы ветра резко ветви кренят
во все концы, но встреча им в к р е с т е,
где буква «Т» все пять одна заменит.
Не только «С» придется там уснуть,
не только «У» делиться после снами.
Лишь верхней планке стоит соскользнуть,
не буква «Т» — а тотчас КРЕСТ пред нами.
И ветви — видит он — длинней, длинней.
И вот они его в себя прияли.
Земля блестит — и он плывет над ней.
Горит звезда...
На самом деле — дали
рассвет уже окрасил в желтый цвет,
и Авраам, ему связавши тело,
его понес туда, откуда след
протоптан был сюда, где пламя тлело.
Весь хворост был туда давно снесен,

и Исаака он на это ложе
сложил сейчас — и все проникло в сон,
но как же мало было с явью схоже.
Он возвратился, сунул шерсть в огонь.
Та вспыхнула, обдавши руку жаром,
и тотчас же вокруг поплыла вонь;
и Авраам свой нож с коротким жалом
достал (почти оттуда, где уснул
тот нож, которым хлеб он резал в доме...).
«Ну что ж, пора», — сказал он и взглянул:
на чем сейчас лежат его ладони?
В одной кинжал, в другой — родная плоть.
«Сейчас соединю...» — и тут же замер,
едва пробормотав: «Спаси, Господь». —
Из-за бархана быстро вышел ангел.

«Довольно, Авраам», — промолвил он,
и тело Авраама тотчас потным
внезапно стало, он разжал ладонь,
нож пал на землю, ангел быстро поднял.
«Довольно, Авраам. Всему конец.
Конец всему, и небу то отрадно,
что ты рискнул — хоть жертве ты отец.
Ну, с этим все. Теперь пойдем обратно.
Пойдем туда, где все сейчас грустят.
Пускай узрят они, что в мире зла нет.
Пойдем туда, где реки все блестят,
как твой кинжал, но плоть ничью не ранят.
Пойдем туда, где ждут твои стада
травы иной, чем та, что здесь, — где снится
твоим шатрам тот день, число когда
твоих детей с числом песка сравнится.
Еще я помню: есть одна гора.
В ее подножьи есть ручей, поляна.
Оттуда пар ползет наверх с утра.

Всегда шумит на склоне роща рьяно.
Внизу трава из русла шумно пьет.
Приходит ветер — роща быстро гнется.
Ее листва в сырой земле гниет,
потом весной опять наверх вернется.
На том стоит у листьев сходство тут.
Пройдут года — они не сменят вида.
Стоят стволы, меж них кусты растут.
Бескрайних туч вверху несется свита.
И сонмы звезд блестят во тьме ночей,
небесный свод покрывши часто, густо.
В густой траве шумит волной ручей,
и пар в ночи растет по форме русла.
Пойдем туда, где все кусты молчат.
Где нет сухих ветвей, где птицы свили
гнездо из трав. А ветви, что торчат
порой в кострах, — так то с кустов, живые.
Твой мозг сейчас, как туча, застит мрак.
Открой глаза: здесь смерти нет в помине.
Здесь каждый куст — взгляни — стоит, как знак
стремленья вверх среди равнин пустыни.
Открой глаза: небесный куст в цвету.
Взгляни туда: он ждет, чтоб ты ответил.
Ответь же, Авраам, его листу —
ответь же мне — идем». Поднялся ветер.
«Пойдем же, Авраам, в твою страну,
где плоть и дух с людьми — с людьми родными, —
где всё, что есть, — живет в одном плену,
где всё, что есть, стократ изменит имя.
Их больше станет, но тем больший мрак
от их теней им руки, ноги свяжет.
Но в каждом слове будет некий знак,
который вновь на первый смысл укажет.
Кусты окружат их, поглотит шаг
ТРАВА полей, и ЛЕС в родной лазури

мелькнет, как Авраам, как Исаак.
Идемте же. Сейчас утихнет буря.
Довольно, Авраам, испытан ты.
Я нож забрал — тебе уж он не нужен.
Холодный свет зари залил кусты.
Идем же. Исаак почти разбужен.
Довольно, Авраам. Испытан. Все.
Конец всему. Все ясно. Кончим. Точка.
Довольно, Авраам. Открой лицо.
Достаточно. Теперь все ясно точно».

Стоят шатры, и тьма овец везде.
Их тучи здесь, — нельзя их счесть. К тому же
они столпились здесь, как тучи те,
что отразились тут же рядом, в луже.
Дымят костры, летают сотни птиц.
Грызутся псы, костей в котлах им вдоволь.
Стекает пот с горячих красных лиц.
Со всех сторон несется громкий говор.
На склонах овцы. Рядом тени туч.
Они ползут навстречу: солнце встало.
Свергаются ручьи с блестящих круч.
Верблюды там в тени лежат устало.
Шумят кусты, летают тыщи мух.
В толпе овец оса жужжит невнятно.
Стучит топор. С горы глядит пастух:
шатры лежат в долине, словно пятна.
Сквозь щелку входа виден ком земли.
Снаружи в щель заметны руки женщин.
Сочится пыль и свет во все углы.
Здесь все полно щелей, просветов, трещин.
Никто не знает трещин, как доска
(любых пород — из самых прочных, лучших, —
пускай она толста, длинна, узка),
когда разлад начнется между сучьев.

В сухой доске обычно трещин тьма.
Но это все пустяк, что есть снаружи.
Зато внутри — смола сошла с ума,
внутри нее дела намного хуже.
Смола засохла, стала паром вся,
ушла наружу. В то же время место,
оставленное ей, ползет, кося,
— куда, лишь одному ему известно.
Вонзаешь нож (надрез едва ль глубок)
и чувствуешь, что он уж в чьей-то власти.
Доска его упорно тянет вбок
и колется внезапно на две части.
А если ей удастся той же тьмой
и сучья скрыть, то бедный нож невольно,
до этих пор всегда такой прямой,
вдруг быстро начинает резать волны.
Все трещины внутри сродни кусту,
сплетаются, толкутся, тонут в спорах,
одна из них всегда твердит: «расту»,
и прах смолы пылится в темных порах.
Снаружи он как будто снегом скрыт.
Одна иль две — чернеют, словно окна.
Однако «вход» в сей дом со «стенкой» слит.
Поземка намела сучки, волокна.
От взора скрыт и крепко заперт вход.
Но нож всегда (внутри, под ней, над нею)
останется слугою двух господ:
ладони и доски — и кто сильнее...
Не говоря о том уж, «в чьих глазах».
Пылится свет, струясь сквозь щелку эту.
Там, где лежат верблюды, Исаак
с каким-то пришлецом ведет беседу.
Дымят костры, летают сотни птиц.
Кричит овца, жужжит оса невнятно.
Струится пот с горячих красных лиц.

Шатры лежат в долине, словно пятна.
Бредут стада. Торчит могильный дом.
Журчит ручей, волна траву колышет.
Он встрепенулся: в воздухе пустом
он собственное имя снова слышит.
Он вдаль глядит: пред ним шатры лежат,
идет народ, с востока туча йдет.
Вокруг костров, как в танце, псы кружат,
шумят кусты, и вот бугор он видит.
Стоит жена, за ней — шатры, поля.
В ее руке — зеленой смоквы ветка.
Она ей машет и зовет царя:
«Идем же, Исаак». — «Идем, Ревекка».

«Идем, Исак. Чего ты встал? Идем».
«Сейчас иду», — ответ средь веток мокрых
ныряет под ночным густым дождем,
как быстрый плот, — туда, где гаснет окрик.
«Исак, не отставай». — «Нет-нет, иду».
(Березка проявляет мощь и стойкость.)
«Исак, ты помнишь дом?» — «Да-да, найду».
«Ну, мы пошли. Не отставай». — «Не бойтесь».

«Идем, Исак». — «Постой». — «Идем». —
«Сейчас».
«Идем, не стой». — (под шапку, как под крышу).
«Давай скорей». — (упрятать каждый глаз).
«Идем быстрей. Идем». — «Сейчас». —
«Не слышу».

По-русски Исаак теряет звук.
Зато приобретает массу качеств,
которые за «букву вместо двух»
отплачивают втрое, в буквах прячась.
По-русски «И» — всего простой союз,

который числа действий в речи множит
(похожий в математике на плюс),
однако он не знает, кто их сложит.
(Но суммы нам не вложено в уста.
Для этого: на свете нету звука.)
Что значит «С», мы знаем из куста:
«С» — это жертва, связанная туго.

А буква «А» — средь этих букв старик,
союз, чтоб между слов был звук раздельный.
По существу же — это страшный крик,
младенческий, прискорбный, вой смертельный.
И если сдвоить, строить: ААА,
сложить бы воедино эти звуки,
которые должны делить слова,
то в сумме будет вопль страшной муки:
«Объяло пламя все суставы „К"
и к одинокой „А" стремится прямо!»
Но не вздымает нож ничья рука,
чтоб кончить муку, нет вблизи Абрама.
Пол-имени еще в устах торчит.
Другую половину пламя прячет.

И Снова жертвА на огне Кричит:
вот то, что «ИСААК» по-русски значит.

Дождь барабанит по ветвям, стучит,
как будто за оградой кто-то плачет
невидимый. «Эй, кто там?» — Всё молчит.

«Идем, Исак». — «Постой». — «Идем». —
«Сейчас».
«Идем, не стой». — Долдонит дождь о крышу.
«Давай скорей! Вот так с ним каждый раз.
Идем быстрей. Идем». — «Сейчас». — «Не слышу».

Дождь льется непрерывно. Вниз вода
несется по стволам, смывает копоть.
В самой листве весенней, как всегда,
намного больше солнца, чем должно быть
в июньских листьях — лето здесь видней
вдвойне, — хоть вся трава бледнее летней.
Но там, где тень листвы висит над ней,
она уж не уступит той, последней.
В тени стволов ясней видна земля,
видней в ней то, что в ярком свете слабо.
Бесшумный поезд мчится сквозь поля,
наклонные сначала к рельсам справа,
а после — слева — утром, ночью, днем,
бесцветный дым клубами трется оземь —
и кажется вдруг тем, кто скрылся в нем,
что мчит он без конца сквозь цифру «8».
Он режет — по оси — ее венцы,
что сел, полей, оград, оврагов полны.
По сторонам — от рельс — во все концы
разрубленные к небу мчатся волны.
Сквозь цифру «8» — крылья ветряка,
сквозь лопасти стальных винтов небесных,
он мчит вперед — его ведет рука,
и сноп лучей скользит в холмах окрестных.
Такой же сноп запрятан в нем самом,
но он с какой-то страстью, страстью жадной,
в прожекторе охвачен мертвым сном:
как сноп жгутом, он связан стенкой задней.
Летит состав, во тьме не видно лиц.
Зато холмы — холмы вокруг не мнимы,
и волны от пути то вверх, то вниз
несутся, как лучи от ламп равнины.
Дождь хлещет непрестанно. Все блестит.
Завеса подворотни, окна косит,
по желобу свергаясь вниз, свистит.

Намокшие углы дома возносят.
Горит свеча всего в одном окне.
Холодный дождь стучит по тонкой раме.
Как будто под водой, на самом дне,
трепещет в темноте и жжется пламя.
Оно горит, хоть все к тому, чтоб свет
угас бы здесь, чтоб стал незрим, бесплотен.
Здесь в темноте нигде прохожих нет,
кирпич стены молчит в окне напротив.
Двор заперт, дворник запил, ночь пуста.
Раскачивает дождь замок из стали.
Горит свеча, и виден край листа.
Засовы, как вода, огонь обстали.
Задвижек волны, темный вал щеколд,
на дне — ключи — медузы, в мерном хоре
поют крюки, защелки, цепи, болт;
все это — только море, только море.
И все ж она стремит свой свет во тьму,
призыв к себе (сквозь дождь, кирпич, сквозь доску).
К себе ль? — О нет, сплошной призыв к тому,
что в ней горит. Должно быть, к воску, к воску.
Забор дощатый. Три замка в дверях.
В них нет щелей. Отсюда ключ не вынут.
Со всех сторон царит бездонный мрак.
Открой окно — и тотчас волны хлынут.
Засов гремит, и доступ к ней закрыт.
(Рукой замок в бессильной злобе стисни.)
И все-таки она горит, горит.
И пожирает нечто, больше жизни.
Пришла лиса, блестят глаза в окне.
Пред ней стекло, как волны, блики гасит.
Она глядит: горит свеча на дне
и длинными тенями стены красит.
Пришла лиса, глядит из-за плеча.
Чуть-чуть свистит, и что-то слышно в свисте

сродни словам. И здесь горит свеча.
Подсвечник украшают пчелы, листья.
Повсюду пчелы, крылья, пыль, цветы,
а в самом центре в медном том пейзаже
корзина есть, и в ней лежат плоды,
которые в чеканке меньше даже
семян из груш. — Но сам язык свечи,
забыв о том, что можно звать спасеньем,
дрожит над ней и ждет конца в ночи,
как летний лист в пустом лесу осеннем.

1963

ПОЛЕВАЯ ЭКЛОГА

Стрекоза задевает волну
и тотчас устремляется кверху,
отраженье пуская ко дну,
словно камень, колодцу в проверку,
чтобы им испытать глубину
и захлопнуть над воротом дверку.

Но нигде здесь не встретишь ведра,
ни тарелки, ни банки, ни склянки.
Пустота, ни избы, ни двора,
шум листвы, ни избы, ни землянки.
Сруб колодца почти до бедра,
неумолчно кричат коноплянки.

Остается возможность во тьму
на веревке с шахтерской корзиной,
через блок перекинув тесьму,
распростившись глазами с низиной,
опуститься в «бадье» самому
в глубину на полет стрекозиный.

Пядь за пядью веревка из рук
вверх уходит, а звезд и не видно.
Черный мох наползает вокруг
на венцы, так что все они слитно
растворяются в сумраке вдруг,
меж собой разделенные скрытно.

Но до дна не достать; и темно.
Вот и новый порядок смещений:

приближается сверху окно.
Мимо тянущих сыростью щелей,
словно камень, уходит на дно
отражение русских качелей.

Перевернут наперсток ведра,
шум листвы — словно гомон овечий.
Сруб избы достает до бедра,
да и церковь здесь в рост человечий.
Под ногами чернеет нора, —
только ноют суставы предплечий.

Кто же ты, гулливер из лесов,
распростившийся с сумрачной пущей,
отодвинувший ногтем засов,
но протиснуться в дверь не могущий,
твердо помнящий принцип весов,
но из лужи из пригоршни пьющий.

Неужели считаешь и ты
(и ничто уж не сдвинет с решенья,
даже вкус и окраска воды),
что на дне стрекозы отраженье,
как и прежде, среди темноты
одиноко лежит без движенья.

Заморозь и куски раскроши,
но в осколках его не увидишь.
Разведи в ней костер, осуши,
но глазам не представится Китеж.
Или ветром ее оглуши...
Но ничем уж ума не насытишь.

Неужели, считаешь, она
холоднее и глубже колодца, —

ведь поверхность не слишком темна.
Но наперсток напялить придется,
добираясь ладонью до дна,
чтоб не смог невзначай уколоться.

Если что-то над грядкой встает,
значит, каждый микрон в ней прополот.
Что ж, пошарь, пусть ладонь поснует
по грязи и почувствует холод.
Там, где плоть до воды достает,
дух еще и не брался за ворот.

Есть доска и найдется бревно,
возвести можно крышу над частью
этой лужи, пробить в ней окно
и со всею возможною страстью
устремиться мизинцем на дно;
но конек заскребет по запястью.

Где «колодец»? Дощатый этаж,
облака и листва без просвета,
мох, венцы, остальной антураж
не дают тебе больше ответа.
Где «колодец»? Молчащий пейзаж
неподвижно глядит на атлета.

Где же он? Видно, там, где весы
замирают, пусты, одинаки.
Может, там, где во время грозы
прибавляется только что влаги.
Или там, где биплан стрекозы
распростер свои крылья во мраке.

Долго ищешь. Пора бы найти
хоть обломок «пилотского» кресла.

Пару щепок веревкой срасти —
вот и крылья, лишь краска облезла..
Но не сбейся в сравненьях с пути:
стрекоза исчезает, исчезла.

Настоящий изгнанник с собой
все уносит. И даже сомненью
обладанья другою судьбой
не оставит, как повод к волненью.
Даже дом деревянный с трубой
не уступит крыльца наводненью.

Отраженья — тем более. Страх
их на тусклой поверхности косит.
Если плоть превращается в прах,
как о том же двойник не попросит.
«Уноси нас с собой на крылах».
Стрекоза их, конечно, уносит.

Нет, не тот изгнанник, кого
в спину ветер, несущий проклятья,
подгоняет, толкая его,
разрывая любые объятья,
в бедный мозг, где сознанье мертво,
проникая сквозь ветхое платье.

Нет, не тот, кто, виденьями полн,
начинает тонуть в половодьях,
как Назон возле сумрачных волн,
ненавидящий душу и плоть их,
словно бурей застигнутый челн,
проклиная их ропот. Напротив.

Это тот неуемный пловец,
рассекающий грудью озёра,

шум листвы, словно гомон овец
различающий скрытых от взора,
над которым пернатый певец
распускает все краски убора.

Нет, не тот. И не тот, кто везде
даже собственной тени несносен,
кто себя не встречает в воде
меж верхушек лиственных и сосен.
И не тот, кто рукой в пустоте
шарит так, что под кожею просинь.

Настоящий изгнанник — никто
в море света, а также средь мрака.
Тот, чья плоть, словно то решето:
мягче ветра и тверже, чем влага.
Кто бредет по дороге в пальто,
меньше леса, но больше оврага.

Что ж. Замри и смотри в небеса
до поры, когда облачным пряжам
нужно вдруг превращаться в леса,
становиться оврагами, скажем,
набегая кустом на глаза,
обращаясь к сознанью пейзажем.

В близоруком величье своем,
с коим взгляд твой к пространству прикован,
скрыто чувство, что странный объем,
как залог тебе долгий, дарован,
что от всякой прогулки вдвоем
и от смерти вдвоем — застрахован.

Звук стучит по воде, словно плеть
(только брызги над ней не взлетают),

проникая поверхность на треть
(и круги растворяются, тают).
Невозможно рубцы рассмотреть.
Только тучи удары считают.

Коноплян... коноплянки кричат,
и Борей заглушить их не в силах.
Только срубы колодцев торчат,
как дома на татарских могилах.
Дует ветер, и волны мельчат,
и веревки бушуют в стропилах.

В низкорослой стране ты не весь
продолжаешь упорно круженье
(дом закрыт и в колодец не влезть),
где помимо законов сложенья
заключается главная спесь
в том, что в лужах здесь нет отраженья.

То ли слезы здесь глуше угроз,
то ль на волнах других, то ли тьмою
заглушается ропот берез.
То ли тот, кто здесь бродит с сумою,
ищет ос, а находит стрекоз
даже осенью, даже зимою.

1963 (?)

ПРОЩАЛЬНАЯ ОДА

1

Ночь встает на колени перед лесной стеною.
Ищет ключи слепые в связке своей несметной.
Птицы твои родные громко кричат надо мною.
Карр! Чивичи-ли, карр! — словно напев посмертный.
Ве́тер пинает ствол, в темный сапог обутый.
Но, навстречу склонясь, бьется сосна кривая.
Снег, белей покрывал, которыми стан твой кутал,
рушится вниз, меня здесь одного скрывая.

2

Туча растет вверху. Роща, на зависть рыбе,
вдруг ныряет в нее. Ибо растет отвага.
Бог глядит из небес, словно изба на отшибе:
будто к нему пройти можно по дну оврага.
Вот я весь пред Тобой, словно пенек из снега,
горло вытянув вверх — вран, но белес, как аист, —
белым паром дыша, руку подняв для смеха,
имя Твое кричу, к хору птиц прибиваюсь.

3

Где ты! Вернись! Ответь! Где Ты. Тебя не видно.
Все сливается в снег и в белизну святую.
Словно ангел — крылом — Ты и безумье — слито,
будто в пальцах своих легкий снежок пестую.

Нет! Все тает — Тебя здесь не бывало вовсе.
Просто всего лишь снег, мною не сбитый плотно.
Просто здесь образ Твой входит к безумью в гости.
И отбегает вспять — память всегда бесплотна.

4

Где Ты! Вернись! Ответь! Боже, зачем скрываешь?
Боже, зачем молчишь? Грешен — молить не смею.
Боже, снегом зачем след ее застилаешь.
Где она — здесь, в лесу? Иль за спиной моею?
Не обернуться, нет! Звать ее бесполезно.
Ночь вокруг, и пурга гасит огни ночлега.
Путь, проделанный ею — он за спиной, как бездна:
взгляд, нырнувший в нее, не доплывет до брега.

5

Где ж она, Бог, ответь! Что ей уста закрыло?
Чей поцелуй? И чьи руки ей слух застлали?
Где этот дом земной — погреб, овраг, могила?
Иль это я молчу? Птицы мой крик украли?
Нет, неправда — летит с зимних небес убранство.
Больше, чем смертный путь, — путь между ней
и мною.
Милых птиц растолкав, так взвился над страною,
что меж сердцем моим и криком моим —
пространство.

6

Стало быть, в чащу, в лес. В сумрачный лес средины
жизни — в зимнюю ночь, дантову шагу вторя.

Только я плоть ищу. А в остальном — едины.
Плоть, пославшую мне, словно вожатых, горе.
Лес надо мной ревет, лес надо мной кружится,
корни в Аду пустив, ветви пустив на вырост.
Так что вниз по стволам можно и в Ад спуститься,
но никого там нет — и никого не вывесть!

7

Ибо она — жива! Но ни свистком, ни эхом
не отзовется мне в этом упорстве твердом,
что припадает сном к милым безгрешным векам,
и молчанье растет в сердце, на зависть мертвым.
Только двуглавый лес — под неподвижным взглядом
осью избрав меня, ствол мне в объятья втиснув,
землю нашей любви перемежая с Адом,
кружится в пустоте, будто паук, повиснув.

8

Так что стоя, в снегу, мерзлый ствол обнимая,
слыша то тут, то там разве что крик вороны,
будто вижу, как ты — словно от сна немая —
жаждешь сном отделить корни сии от кроны.
Сон! Не молчанье — сон! Страшной подобный стали,
смерти моей под стать — к черной подснежной
славе —
режет лес по оси, чтоб из мертвых восстали
грезы ее любви — выше, сильней, чем в яви!

9

Боже зимних небес, Отче звезды над полем,
Отче лесных дорог, снежных холмов владыка,

Боже, услышь мольбу: дай мне взлететь над горем
выше моей любви, выше стенанья, крика.
Дай ее разбудить! Нет, уж не речью страстной!
Нет, не правдой святой, с правдою чувств совместной!
Дай ее разбудить песней такой же ясной,
как небеса Твои, — ясной, как свод небесный!

10

Отче зимних равнин, мне — за подвиг мой
грешный —
сумрачный голос мой сделавший глуше, Боже,
Отче, дай мне поднять очи от тьмы кромешной!
Боже, услышь меня, давший мне душу Боже!
Дай ее разбудить, светом прильнуть к завесам
всех семи покрывал, светом сквозь них пробиться!
Дай над безумьем взмыть, дай мне взлететь над
лесом,
песню свою пропеть и в темноту спуститься.

11

В разных земных устах дай же звучать ей долго.
То как любовный плач, то как напев житейский.
Дай мне от духа, Бог, чтобы она не смолкла
прежде, чем в слух любви хлынет поток летейский.
Дай мне пройти Твой мир подле прекрасной жизни,
пусть не моей — чужой. Дай вослед посмотреть им.
Дай мне на землю пасть в милой моей отчизне,
лжи и любви воздав общим числом — бессмертьем!

12

Этой силы прошу в небе Твоем пресветлом.
Небу нету конца. Но и любви конца нет.

Пусть все то, что тогда было таким несметным:
ложь ее и любовь, — пусть все бессмертным станет!
Ибо ее душа — только мой крик утихнет —
тело оставит вмиг — песня звучит все глуше.
Пусть же за смертью плоть душу свою настигнет:
я обессмерчу плоть — ты обессмертил душу!

13

Пусть же, жизнь обогнав, с нежностью песня тронет
смертный ее порог — с лаской, но столь же мнимо,
и как ласточка лист, сорванный лист обгонит
и помчится во тьму, ветром ночным гонима.
Нет, листва, не проси даже у птиц предательств!
Песня, как ни звонка, глуше, чем крик от горя.
Пусть она, как река, этот «листок» подхватит
и понесет с собой, дальше от смерти, в море.

14

Что ж мы смертью зовем. То, чему нет возврата!
Это бессилье душ — нужен ли лучший признак!
Целой жизни во тьму бегство, уход, утрата...
Нет, еще нет могил! Но уж бушует призрак!
Что уж дальше! Смерть! Лучшим смертям
на зависть!
Всем сиротствам урок: горе одно, без отчеств.
Больше смерти: в руке вместо запястья — запись.
Памятник нам двоим, жизни ушедшей — почесть!

15

Отче, прости сей стон. Это все рана. Боль же
не заглушить ничем. Дух не властен над нею.

Боже, чем больше мир, тем и страданье больше,
дольше — изгнанье, вдох — глубже! о нет —
больнее!
Жизнь, словно крик ворон, бьющий крылом
окрестность,
поиск скрывшихся мест в милых сердцах с успехом.
Жизнь — возвращенье слов, для повторенья
местность
и на горчайший зов — все же ответ: хоть эхом.

16

Где же искать твои слезы, уста, объятья?
В дом безвестный внесла? В черной земле зарыла?
Как велик этот край? Или не больше платья?
Платьица твоего? Может быть, им прикрыла?
Где они все? Где я? — Здесь я, в снегу, как стебель
горло кверху тяну. Слезы глаза мне застят.
Где они все? В земле? В море? В огне? Не
в небе ль?
Корнем в сумрак стучу. Здесь я, в снегу, как заступ.

17

Боже зимних небес, Отче звезды горящей,
словно ее костер в черном ночном просторе!
В сердце бедном моем, словно рассвет на чащу,
горе кричит на страсть, ужас кричит на горе.
Не оставляй меня! Ибо земля — все шире...
Правды своей не прячь! Кто я? — пришел —
исчезну.
Не оставляй меня! Странник я в этом мире.
Дай мне в могилу пасть, а не сорваться в бездну.

18

Боже! Что она жжет в этом костре? Не знаю.
Прежде, чем я дойду, может звезда остынуть.
Будто твоя любовь, как и любовь земная,
может уйти во тьму, может меня покинуть.
Отче! Правды не прячь! Сим потрясен разрывом,
разум готов нырнуть в пение правды нервной:
Божья любовь с земной — как океан с приливом:
бегство во тьму второй — знак отступленья первой!

19

Кончено. Смерть! Отлив! Вспять уползает лента!
Пена в сером песке сохнет — быстрей, чем жалость!
Что же я? Брег пустой? Черный край континента?
Боже, нет! Материк! Дном под ним продолжаюсь!
Только трудно дышать. Зыблется свет неверный.
Вместо неба и птиц — море и рыб беззубье.
Давит сверху вода — словно ответ безмерный —
и убыстряет бег сердца к ядру: в безумье.

20

Боже зимних небес. Отче звезды над полем.
Казни я не страшусь, как ни страшна разверстость
сей безграничной тьмы; тяжести дна над морем:
ибо я сам — любовь. Ибо я сам — поверхность!
Не оставляй меня! Ты меня не оставишь!
Ибо моя душа — вся эта местность Божья.
Отче! Каждая страсть, коей меня пытаешь,
душу мою, меня — вдаль разгоняет больше.

21

Отче зимних небес, давший безмерность муки
вдруг прибавить к любви; к шири её несметной,
дай мне припасть к земле, дай мне раскинуть руки,
чтобы пальцы мои свесились в сумрак смертный.
Пусть это будет крест: горе сильней, чем доблесть!
Дай мне объятья, нет, дай мне лишь взор насытить.
Дай мне пропеть о той, чей уходящий образ
дал мне здесь, на земле, ближе Тебя увидеть!

22

Не оставляй ее! Сбей с ее крыльев наледь!
Боже, продли ей жизнь, если не сроком — местом.
Ибо она как та птица, что гнезд не знает,
но высоко летит к ясным холмам небесным.
Дай же мне сил вселить смятый клочок бумажный
в души, чьих тел еще в мире нигде не встретить.
Ибо, если следить этот полет бесстрашный,
можно внезапно Твой, дальний Твой край заметить!

23

Выше, выше... простясь... с небом в ночных удушьях...
выше, выше... прощай... пламя, сжегшее правду...
Пусть же песня совьет... гнезда в сердцах грядущих...
выше, выше... не взмыть... в этот край астронавту...
Дай же людским устам... свистом... из неба вызвать...
это сиянье глаз... голос... Любовь, как чаша...
с вечно живой водой... ждет ли она: что брызнуть...
долго ли ждать... ответь... Ждать... до смертного
часа...

24

Карр! чивичи-ли-карр! Карр, чивичи-ли... струи
снега ли... карр, чиви... Карр, чивичи-ли... ветер...
Карр, чивичи-ли, карр... Карр, чивичи-ли... фьюи..
Карр, чивичи-ли, карр. Каррр... Чечевицу видел?
Карр, чивичи-ли, карр... Карр, чивичири, чири...
Спать пора, спать пора... Карр, чивичи-ри, фьере!
Карр, чивичи-ри, каррр... фьюри, фьюри, фьюири.
Карр, чивичи-ри, карр! Карр, чивиче... чивере.

январь 1964
Таруса

ПИСЬМО В БУТЫЛКЕ

(Entertainment for Mary)[1]

То, куда вытянут нос и рот,
прочий куда обращен фасад,
то, вероятно, и есть «вперед»;
все остальное считай «назад».
Но так как нос корабля на Норд,
а взор пассажир устремил на Вест
(иными словами, глядит за борт),
сложность растет с переменой мест.
И так как часто плывут корабли,
на всех парусах по волнам спеша,
физики «вектор» изобрели.
Нечто бесплотное, как душа.

Левиафаны машут хвостом
по волнам от радости кверху дном,
когда указует на них перстом
вектор призрачным гарпуном.
Сирены не прячут прекрасных лиц
и громко со скал поют в унисон,
когда весельчак-капитан Улисс
чистит на палубе смит-вессон.
С другой стороны, пусть поймет народ,
ищущий грань меж Добром и Злом:
в какой-то мере бредет вперед
тот, кто с виду кружит в былом.
А тот, кто — по Цельсию — спит в тепле,
под балдахином и в полный рост,
с цезием в пятке (верней, в сопле),

[1] Развлечение для Мери (англ.).

пинает носком покрывало звезд.
А тот певец, что напрасно лил
на волны звуки, квасцы и йод,
спеша за метафорой в древний мир,
должно быть, о чем-то другом поет.

Двуликий Янус, твое лицо —
к жизни одно и к смерти одно —
мир превращает почти в кольцо,
даже если пойти на дно.
А если поплыть под прямым углом,
то, в Швецию словно, упрешься в страсть.
А если кружить меж Добром и Злом,
Левиафан разевает пасть.
И я, как витязь, который горд
коня сохранить, а живот сложить,
честно поплыл и держал Норд-Норд.
Куда — предстоит вам самим решить.
Прошу лишь учесть, что, хоть рвется дух
вверх, паруса не заменят крыл,
хоть сходство в стремлениях этих двух
еще до Ньютона Шекспир открыл.

Я честно плыл, но попался риф,
и он насквозь пропорол мне бок.
Я пальцы смочил, но Финский залив
тут оказался весьма глубок.
Ладонь козырьком и грусть затая,
обозревал я морской пейзаж.
Но, несмотря на бинокли, я
не смог разглядеть пионерский пляж.
Снег повалил тут, и я застрял,
задрав к небосводу свой левый борт.
Как некогда сам «Генерал-Адмирал
Апраксин». Но чем-то иным затерт.

Айсберги тихо плывут на Юг.
Гюйс шелестит на ветру.
Мыши беззвучно бегут на ют,
и, булькая, море бежит в дыру.
Сердце стучит, и летит снежок,
скрывая от глаз «воронье гнездо»,
забив до весны почтовый рожок;
и вместо «ля» раздается «до».
Тает корма, а сугробы растут.
Люстры льда надо мной висят.
Обзор велик, и градусов тут
больше, чем триста и шестьдесят.
Звезды горят и сверкает лед.
Тихо звенит мой челн.
Ундина под бушпритом слезы льет
из глаз, насчитавших мильярды волн.

На азбуке Морзе своих зубов
я к Вам взываю, профессор Попов,
и к Вам, господин Маркони, в КОМ[1],
я свой привет пошлю с голубком.
Как пиво, пространство бежит по усам.
Пускай дирижабли и Линдберг сам
не покидают большой ангар.
Хватит и крыльев, поющих: «карр».
Я счет потерял облакам и дням.
Хрусталик не верит теперь огням.
И разум шепчет, мой верный страж,
когда я вижу огонь: мираж.
Прощай, Эдисон, повредивший ночь.
Прощай, Фарадей, Архимед и проч.
Я тьму вытесняю посредством свеч,
как море — трехмачтовик, давший течь.

---

[1] КОМ — Компания объединенная Маркони. *(Прим. автора.)*

(И может, сегодня в последний раз
мы, конюх, сражаемся в преферанс,
и «пулю» чертишь пером ты вновь,
которым я некогда пел любовь.)

Пропорот бок, и залив глубок.
Никто не виновен: наш лоцман — Бог.
И только Ему мы должны внимать.
А воля к спасенью — смиренья мать.
И вот я грустный вчиняю иск
тебе, преподобный отец Франциск:
узрев пробоину, как автомат,
я тотчас решил, что сие — стигмат.
Но, можно сказать, начался прилив,
и тут раскрылся простой секрет:
то, что годится в краю олив,
на севере дальнем приносит вред.
И, право, не нужен сверхзоркий Цейс.
Я вижу, что я проиграл процесс,
гораздо стремительней, чем иной
язычник, желающий спать с женой.
Вода, как я вижу, уже по грудь,
И я отплываю в последний путь.
И так как не станет никто провожать,
хотелось бы несколько рук пожать.

Доктор Фрейд, покидаю Вас,
сумевшего (где-то вне нас) на глаз
над речкой души перекинуть мост,
соединяющий пах и мозг.
Адье, утверждавший «терять, ей-ей,
нечего, кроме своих цепей».
И совести, если на то пошло.
Правда твоя, старина Шарло.
Еще обладатель брады густой,

Ваше сиятельство, граф Толстой,
любитель касаться ногой травы,
я Вас покидаю. И Вы правы.
Прощайте, Альберт Эйнштейн, мудрец.
Ваш не успев осмотреть дворец,
в Вашей державе слагаю скит:
Время — волна, а Пространство — кит.

Природа сама и ее щедрот
сыщики: Ньютон, Бойль-Мариотт,
Кеплер, поднявший свой лик к Луне, —
вы, полагаю, приснились мне.
Мендель в банке и Дарвин с костьми
макак, отношенья мои с людьми,
их возраженья, зима, весна,
август и май — персонажи сна.
Снился мне холод и снился жар;
снился квадрат мне и снился шар,
щебет синицы и шелест трав.
И снилось мне часто, что я неправ.
Снился мне мрак и на волнах блик.
Собственный часто мне снился лик.
Снилось мне также, что лошадь ржет.
Но смерть — это зеркало, что не лжет.
Когда я умру, а сказать точней,
когда я проснусь и когда скучней
на первых порах мне придется т а м,
должно быть, виденья, я вам воздам.
А впрочем, даже такая речь
признак того, что хочу сберечь
тени того, что еще люблю.
Признак того, что я крепко сплю.

Итак, возвращая язык и взгляд
к барашкам на семьдесят строк назад,

чтоб как-то их с пастухом связать,
вернувшись на палубу, так сказать,
я вижу, собственно, только нос
и снег, что Ундине уста занес
и нежный бюст превратил в сугроб.
Сейчас мы исчезнем, плавучий гроб.
И вот, отправляясь навек на дно,
хотелось бы твердо мне знать одно,
поскольку я не вернусь домой:
куда указуешь ты, вектор мой?

Хотелось бы думать, что пел не зря.
Что то, что я некогда звал «заря»,
будет и дальше всходить, как встарь,
толкая худеющий календарь.
Хотелось бы думать, верней — мечтать,
что кто-то будет шары катать,
а некто — из кубиков строить дом.
Хотелось бы верить (увы, с трудом),
что жизнь водолаза пошлет за мной,
дав направление: «мир иной».

Постыдная слабость! Момент, друзья.
По крайней мере, надеюсь я,
что сохранит милосердный Бог
то, что я лицезреть не смог:
Америку, Альпы, Кавказ и Крым,
долину Евфрата и вечный Рим,
Торжок, где почистить сапог — обряд,
и добродетелей неких ряд,
которых тут не рискну назвать,
чтоб заодно могли уповать
на Бережливость, на Долг и Честь
(хоть я не уверен в том, что вы — есть).
Надеюсь я также, что некий швед

спасет от атомной бомбы свет,
что желтые тигры убавят тон,
что яблоко Евы иной Ньютон
сжует, а семечки бросит в лес,
что «блюдца» украсят сервиз небес.

Прощайте! пусть ветер свистит, свистит.
Больше ему уж не зваться злым.
Пускай Грядущее здесь грустит:
как ни вертись, но не стать Былым.
Пусть Кант-постовой засвистит в свисток,
а в Веймаре пусть Фейербах ревет:
«Прекрасных видений живой поток
щелчок выключателя не прервет!»
Возможно, так. А возможно, нет.
Во всяком случае (ветер стих),
как только Старушка погасит свет,
я знаю точно: не станет их.
Пусть жизнь продолжает, узрев в дупле
улитку, в охотничий рог трубить,
когда на скромном своем корабле
я, как сказал перед смертью Рабле,
отправлюсь в «Великое Может Быть»...

(размыто)

Мадам, Вы простите бессвязность, пыл.
Ведь Вам-то известно, куда я плыл
и то, почему я, презрев компас,
курс проверял, так сказать, на глаз.

Я вижу бульвар, где полно собак.
Скамейка стоит, и цветет табак.
Я вижу фиалок пучок в петле,
и Вас я вижу, мадам, в букле.

Печальный взор опуская вниз,
я вижу светлого джерси мыс,
две легкие шлюпки, их четкий рант,
на каждой, как маленький кливер, бант.

А выше — о, звуки небесных арф! —
подобный голландке, в полоску шарф
и волны, которых нельзя сомкнуть,
в которых бы я предпочел тонуть.

И брови, как крылья известных птиц,
над взором, которому нет границ
в мире огромном ни вспять, ни впредь, —
который Незримому дал Смотреть.

Мадам, если впрямь существует связь
меж сердцем и взглядом (лучась, дробясь
и преломляясь), заметить рад:
у Вас она лишена преград.

Мадам, это больше, чем свет небес.
Поскольку на полюсе можно без
звезд копошиться хоть сотню лет.
Поскольку жизнь — лишь вбирает свет.

Но Ваше сердце, точнее — взор
(как некие пальцы — предмет, узор)
рождает чувства, и форму им
светом оно придает своим.

(размыто)

...И в этой бутылке у Ваших стоп,
свидетельстве скромном, что я утоп,
как астронавт посреди планет,
Вы сыщете то, чего больше нет.

Вас в горлышке встретит, должно быть, грусть
До марки добравшись — и наизусть
запомнив, — придете в себя вполне.
И встреча со мною Вас ждет на дне!

Мадам! Чтоб рассеять случайный сплин,
Bottoms up! — как сказал бы Флинн.
Тем паче, что мир, как в «Пиратах», здесь
в зеленом стекле отразился весь.

(размыто)

Так вспоминайте ж меня, мадам,
при виде волн, стремящихся к Вам,
при виде стремящихся к Вам валов,
в беге строк и в гуденьи слов...

Море, мадам, это чья-то речь...
Я слух и желудок не смог сберечь:
я нахлебался и речью полн...

(размыто)

Меня вспоминайте при виде волн!

(размыто)

...что парная рифма нам даст, то ей
мы возвращаем под видом дней.
Как, скажем, данные дни в снегу...
Лишь смерть оставляет, мадам, в долгу.

(размыто)

Что говорит с печалью в лице
кошке, усевшейся на крыльце,
снегирь, не спуская с последней глаз?
«Я думал, ты не придешь. Alas!»

ноябрь 1964
Норенская

EINEM ALTEN ARCHITEKTEN IN ROM[1]

I

В коляску, если только тень
действительно способна сесть в коляску
(особенно в такой дождливый день),
и если призрак переносит тряску,
и если лошадь упряжи не рвет, —
в коляску, под зонтом, без верха,
мы взгромоздимся молча и вперед
покатим по кварталам Кёнигсберга.

II

Дождь щиплет камни, листья, край волны.
Дразня язык, бормочет речка смутно,
чьи рыбки, навсегда оглушены,
с перил моста взирают вниз, как будто
заброшены сюда взрывной волной
(хоть сам прилив не оставлял отметки).
Блестит кольчугой голавель стальной.
Деревья что-то шепчут по-немецки.

III

Вручи вознице свой сверхзоркий Цейс.
Пускай он вбок свернет с трамвайных рельс.

---

[1] Старому архитектору в Рим *(нем.)*.

Ужель и он не слышит сзади звона?
Трамвай бежит в свой миллионный рейс,
трезвонит громко и, в момент обгона,
перекрывает звонкий стук подков!
И, наклонясь, — как в зеркало — с холмов
развалины глядят в окно вагона.

IV

Трепещут робко лепестки травы.
Атланты, нимфы, голубки, голубки,
аканты, нимбы, купидоны, львы
смущенно прячут за спиной обрубки.
Не пожелал бы сам Нарцисс иной
зеркальной глади за бегущей рамой,
где пассажиры собрались стеной,
рискнувши стать на время амальгамой.

V

Час ранний. Сумрак. Тянет пар с реки.
Вкруг урны пляшут на ветру окурки.
И юный археолог черепки
ссыпает в капюшон пятнистой куртки.
Дождь моросит. Не разжимая уст,
среди равнин, припорошенных щебнем,
среди руин больших, на скромный бюст
Суворова ты смотришь со смущеньем.

VI

Пир... пир бомбардировщиков утих.
С порталов март смывает хлопья сажи.

То тут, то там торчат хвосты шутих,
стоят, навек окаменев, плюмажи.
И если здесь поковырять (по мне,
разбитый дом, как сеновал в иголках),
то можно счастье отыскать вполне
под четвертичной пеленой осколков.

VII

Клен выпускает первый клейкий лист.
В соборе слышен пилорамы свист.
И кашляют грачи в пустынном парке.
Скамейки мокнут. И во все глаза
из-за ограды смотрит вдаль коза,
где зелень проступает на фольварке.

VIII

Весна глядит сквозь окна на себя
и узнает себя, конечно, сразу.
И зреньем наделяет тут судьба
все то, что недоступно глазу.
И жизнь бушует с двух сторон стены,
лишенная лица и черт гранита;
глядит вперед, поскольку нет спины.
Хотя теней в кустах битком набито.

IX

Но если ты не призрак, если ты
живая плоть, возьми урок с натуры
и, срисовав такой пейзаж в листы,
своей душе ищи другой структуры.

Отбрось кирпич, отбрось цемент, гранит,
разбитый в прах — и кем! — винтом крылатым,
на первый раз придав ей тот же вид,
каким сейчас ты помнишь школьный атом.

X

И пусть теперь меж чувств твоих провал
начнет зиять. И пусть за грустью томной
бушует страх и, скажем, злобный вал.
Спасти сердца и стены в век атомный,
когда скала — и та дрожит, как жердь,
возможно лишь скрепив их той же силой
и связью той, какой грозит им смерть.
И вздрогнешь ты, расслышав возглас: «милый!»

XI

Сравни с собой или прикинь на глаз
любовь и страсть и — через боль — истому.
Так астронавт, пока летит на Марс,
захочет ближе оказаться к дому.
Но ласка та, что далека от рук,
стреляет в мозг, когда от верст опешишь,
проворней уст: ведь небосвод разлук
несокрушимей потолков убежищ.

XII

Чик, чик-чирик, чик-чик — посмотришь вверх
и в силу грусти, а верней, привычки
увидишь в тонких прутьях Кёнигсберг.
А почему б не называться птичке

Кавказом, Римом, Кёнигсбергом, а?
Когда вокруг — лишь кирпичи и щебень,
предметов нет, и только есть слова.
Но нету уст. И раздается щебет.

XIII

И ты простишь нескладность слов моих.
Сейчас от них один скворец в ущербе.
Но он нагонит: чик, Ich liebe dich!
И может быть, опередит: Ich sterbe!
Блокнот и Цейс в большую сумку спрячь.
Сухой спиной поворотись к флюгарке
и зонт сложи, как будто крылья — грач.
И только ручка выдаст хвост пулярки.

XIV

Постромки — в клочья... лошадь где? Подков
не слышен стук... Петляя там, в руинах,
коляска катит меж пустых холмов...
Съезжает с них куда-то вниз ...две длинных
шлеи за ней... И вот — в песке следы
больших колес. Шуршат кусты в засаде...

XV

И море, гребни чьи несут черты
того пейзажа, что остался сзади,
бежит навстречу. И как будто весть,
благую весть, сюда, к земной границе,
влечет валы. И это сходство здесь
уничтожает в них, лаская спицы.

ноябрь—декабрь 1964

* * *

Пришла зима, и все, кто мог лететь,
покинули пустую рощу — прежде,
чем быстрый снег их перья смог задеть,
добавить что-то к легкой их одежде.
Раскраска — та ж, узор ничем не смят,
и пух не смят водой, в нее попавшей.
Они сокрылись, платья их шумят,
несясь вослед листве, пример подавшей.
Они исчезли, воздух их сокрыл,
и лес ночной сейчас им быстро дышит,
хоть сам почти не слышит шумных крыл;
они одни вверху друг друга слышат.
Они одни... и ветер вдаль, свистя,
верней — крича, холмов поверх лесистых,
швыряя вниз, толкая в грудь, крутя,
несет их всех — охапку тусклых листьев.
Раскрыты клювы, перья, пух летит,
опоры ищут крылья, перья твердой,
но пуще ветер в спины их свистит,
сверкает лист изнанкой красной, желтой.
Дуй, дуй, Борей, неси их дальше, прочь,
вонзайся в них стрелой бесплотной, колкой,
дуй, дуй, Борей, неси их вон из рощ,
то вверх, то вниз, толкай их, крылья комкай.
Дуй, дуй, Борей, неси их прочь во мгле,
щепи им клювы, лапки, что придется,
дуй, дуй, Борей, прижми их вниз, к земле,
узоры рви, прибавь с листвой им сходства.
Дуй, дуй, гони их прочь из этих мест,
дуй, дуй, кричи, свисти им вслед невнятно,

пусть круг, пятно сольются в ленту, в крест,
пусть искры, крест сольются в ленту, в пятна.
Дуй, дуй, пускай все станет в них другим,
пускай воззрится дрозд щеглиным взглядом,
пускай предстанет дятел вдруг таким,
каким был тот, кто вечно был с ним рядом.
Стволом? Листвой? Стволом. Нет-нет, листвой.
Пускай он сам за ней помчится следом.
Дуй, дуй, Борей, пускай под этот вой
сольется он с листвой не только цветом.
Пусть делит участь так, как кров делил,
пусть делит вплоть до снега, вплоть до смерти,
пускай кричит, чтоб Бог им дни продлил,
продлил листве — «с моими смерьте, смерьте».
Но тщетно, роща, тщетно, тщетно, лес,
не может слиться дом с жильцом, и вспышка
любви пройдет. Смотри, ведь он исчез.
А как же крик? Какой? Да тот. Ослышка.
Снег, снег летит, уж больше нет родства,
уж белых мух никто не клюнет слепо.
Что там чернеет? Птицы. Нет, листва,
листва к земле прижалась, смотрит в небо.
Не крылья это? Нет. Не клювы? Нет.
То листья, стебли, листья, стебли, листья,
лицом, изнанкой молча смотрят в свет,
нет, перьев нет, окраска волчья, лисья.
Снег, снег летит, со светом сумрак слит,
порыв последний тонкий ствол пинает,
лист кверху ликом бедный год сулит,
хоть сам того не знает, сам не знает.
Изнанкой кверху — грузный, полный год,
огромный колос — хлеб мышиный, птичий;
лицо к земле, не жди, не жди невзгод,
ищи в листве, ищи сейчас отличий.
Снег, снег летит, куда ты мчишься, мышь.

Уж поздно — снег, пора, чтоб все вы спали.
Зачем ерошишь копны, что шуршишь,
куда ты мчишь. Смотри, как листья пали.
Изнанкой кверху, ликом кверху, вниз,
не все ль одно — они простерлись ниц,
возврата нет для них к ветвям шумевшим.
Так что ж они шуршат, шумят, скользят,
пытаясь лечь не так, как вышло сразу,
сейчас земля и свет небес грозят
одной бедой — одною стужей глазу.
Да есть ли глаз. О нет. Да есть ли слух.
Не все ль одно, что скрыто в мертвых взорах.
Не все ль равно, коль он незряч и глух.
А есть ли голос. Нет — но слышен шорох.
Не все ль одно (листу) как лечь, как пасть,
земля поглотит, зимний снег застудит.
Один апрель во всем разбудит страсть,
разбудит страсть и шум в ветвях разбудит.
Не все ль равно, не все ль одно, как лечь,
не все ль равно, чем здесь к земле прижались,
разжали пальцы, вмиг прервали речь,
исчезли в ночь, умчались прочь, сорвались.
Во тьму, во мрак, застлали тьму ковром
неровным, пестрым, вверх и вниз изнанкой.
Не все ль одно — и снег блестит как хром,
искрясь венцом над каждой черной ранкой.
Не все ль равно — нет-нет, блестит звезда,
листва безмолвно слышит крик суровый,
слова о том, что в смертный миг уста
шепнут — то их настигнет в жизни новой.
То станет пылью, что в последний миг
небесный свет зальет; то станет гнилью,
что смотрит в землю, — листья слышат крик,
и шум вослед стремится их усилью.
Что видит глаз, о чем шепнут уста,

что встретит слух, что вдруг коснется мозга,
настигнет снова скрытый вид листа...
ищи вокруг... быстрей... пока не поздно.
Снег, снег летит; о чем в последний миг
подумаешь, тем точно станешь после, —
предметом, тенью, тем, что возле них,
птенцом, гнездом, листвою, тем, что подле.
При смерти нить способна стать иглой,
при смерти сил — мечта — желаньем страстным,
холмы — цветком, цветок — простой пчелой,
пчела — травой, трава — опять пространством.
Скворец в гнезде спешит сменить наряд
(страшась тех мест, где — мнит он — черно, пусто),
вступающий в известный сердцу ряд,
живущий в подтвержденье правды чувства.
Про это вспоминает край лишь тот,
где все полно жужжанья, крику, свету,
борясь, что сил, с виденьем тьмы, пустот,
отчаянно к себе зовет победу:
«Вернись же, лето. Стог, вернись хоть стог.
Вернись же, лето, что ж ты прочь из мозга
летишь стремглав, вернись хоть ты, росток
ночной травы, вернись, уж поздно, поздно.
Вернись хоть стог, вернись хоть сноп, хоть жгут,
вернись хоть серп, вернись хоть клок туманный
в рассветный час, вернись, вернись, лоскут
туманной ленты в сонной роще рваный.
Прочь, прочь, ночной простор (и блеск огня),
прочь, прочь, звезда над каждой черной кроной,
прочь, прочь, закат, исчезни, сумрак дня,
прочь, прочь, леса, обрывы, грач с вороной.
Прочь, прочь, холмы, овраги, тень куста,
прочь, прочь, лиса, покиньте, волки, память.
Прочь, клевер, мох, сокройтесь в те места,
где ветер мчит: ведь вас ему не ранить.

Прочь, ветер, прочь, вокруг еще светло.
Прочь, прочь, листва — с ветвей, от взора —
скройся.
Прочь, лес родной, и прочь, мое крыло,
из мозга прочь, закройся клюв, не бойся».
Снег, снег летит. Прощай, скворец в гнезде.
Прощай, прощай, борись за то, чтоб вспомнить.
Спеши, спеши, смотри: уж снег везде.
Родной весной попробуй ум наполнить.
Снег, снег летит. Вокруг бело, светло.
Одна звезда горит над спящей пашней.
Чернеет лес, озера льдом свело,
и твой на дне заснул двойник всегдашний.
Засни и ты. Забудь тот крик, забудь.
Засни и ты: смотри, как соснам спится.
Всегда пред сном твердишь о чем-нибудь,
но вот в ответ совсем другое снится.
Снег, снег летит, скрывая красных лис,
волков седых, озерным льдом хрустящих,
и сны летят со снегом вместе вниз
и тают, здесь, во тьме, меж глаз блестящих.
Снег, снег летит, и хлопья быстро льнут
к ночным путям, к флюгаркам мертвых стрелок
и к перьям их, огни на миг сверкнут,
и вновь лишь ночь видна — а где — в пробелах.
Снег, снег летит и глушит каждый звук,
горох свистков до снежных баб разносит,
нельзя свистеть — и рынду рвет из рук —
нельзя звонить, и рельсы быстро косит.
Нельзя свистеть. Нельзя звонить, кричать.
Снег, снег летит, и нет ни в ком отваги.
Раскроешь рот, и вмиг к устам печать
прильнет, сама стократ белей бумаги.
Снег, снег летит, и хлопья льнут к «носкам»,
к кускам угля, к колодкам, скрытым шлаком,

к пустынным горкам, к стрелкам, к «башмакам»,
к пустым мостам, к пикетным снежным знакам.
А где столбы. Их нет, их нет, каюк.
Нельзя снестись ни с чем посредством почты.
Нельзя свистеть, нельзя звонить на юг,
стучать ключом, уж только избы — точки.

Снег, снег летит, и хлопья льнут к трубе,
к «тарелкам» льнут, к стаканам красным, к брусу,
к латуни льнут, сокрывшей свист в себе,
к торцу котла, к буграм разборным, к флюсу.
Заносит все: дыру, где пар пищит,
масленку, болт, рождает ужас точность,
площадки все, свисток, отбойный щит,
прожектор скрыт, торчат холмы песочниц.
Заносит все: весь тендер сверху вниз,
скрывает шток, сугроб растет с откоса,
к кулисам льнет, не видно щек кулис,
заносит путь, по грудь сокрыл колеса.
Где будка? Нет: один большой сугроб.
Инжектор, реверс, вместе с прочей медью,
не скрипнув, нет, нырнули в снежный гроб,
последний дым послав во тьму за смертью.
Все, все занес. Нырнул разъезд в пургу.
Не хочет всплыть. Нет сил скитаться в тучах.
Погасло все. «Столыпин» спит в снегу.
И избы спят. Нет-нет, не будит ключ их.
Заносит все: ледник, пустой думпкар,
толпу платформ заносит ровно, мерно,
гондолы все, больших дрезин оскал,
подъемный парк, иглу стрелы, цистерну.
Заносит пульмана в полночной мгле,
заносит крыши, окна, стенки, двери,
подножки их, гербы, замки, суфле,
зато внутри темно, по крайней мере.

Пути в снегу, составы, все в снегу,
вплетают ленты в общий снежный хаос,
сливаясь с ним, срываясь с ним в пургу.
Исчез вокзал. Плывет меж туч пакгауз.
Часы — их нет. И желтый портик взят
в простор небес — когда? — не вспомнить часа.
Лишь две дуги карнизов тут скользят,
как буквы «С», слетев со слова «касса».
Исчезло все, но главный зимний звук
нашел себе (пускай безмолвный) выход.
Ни буквы нет на сотню верст вокруг.
Но что сильней — сильней, чем страсть и прихоть?
Но все молчит, но все молчит, молчит.
И в самой кассе здесь не видно света,
весь мир исчез, и лишь метель стучит,
как поздний гость, в окно и в дверь буфета.

«Огонь и свет — меж них разрыва нет».
Чем плох пример? хоть он грозит бездушьем
тому, кто ждет совсем иных примет:
союз с былым сильней, чем связь с грядущим...
Метель стучит. Какой упорный стук.
Но тверд засов, и зря свеча трепещет.
Напрасно, зря. И вот уж стул потух,
зато графин у входа ярко блещет.
Совсем собор... Лишь пол — воды черней.
Зато брега светлы, но ярче — правый...
Холмы, как волны, но видней вдвойне,
и там, в холмах, блестит собор двуглавый.
Состав подгонишь — все блестит, как снег.
Холмы как снег, и мост — как будто иней
покрыл его, и как там брать разбег:
зеленый там горит совсем как синий.
Молчанье, тишь. Вокзал лежит в тени.
Пути блестят. «Какой зажгли?» — «Как будто...

как будто синий». — «Спятил». — «Сам взгляни».
Взаправду в небе лютик светит смутно...
Налей еще... вон этой, красной. Да...
Свеча дрожит, то ту, то эту стену
залив огнем... Куда ты встал, куда?
Куда спешишь: метель гремит. «На смену».

Вон этой, красной... лучше вместе с ней
терпеть метель и ночь (ловлю на слове),
чем с кем живым... Ведь только кровь — красней...
А так она — погуще всякой крови...
Налей еще... Смотри: дрожит буфет.
Метель гремит. Должно быть, мчит товарный...
Не нравится мне, слышишь... красный цвет:
во рту всегда какой-то вкус угарный.
В Полесье, помню, был дощатый пост...
Помощник жил там полный год с родными.
Разбил им клумбы... все тотчас же в рост...
А маки, розы — что ж я делал с ними?
Поверишь — рвал, зрачок не смог снести
оскомы той — они и так уж часты.
Поверишь — рвал... бросал в песок, в кусты.
Зато уж там — повсюду флоксы, астры...
Не верь, не верь. Куда ж ты встал? Пора?
Ну что ж, ступай. Неужто полночь? Полночь.
Буфет дрожит, звенит. Тебе с утра?
Белым-бело... Бог в помощь... ладно... В помощь.

Метель гремит. Товарный мчит во тьму.
Буфет дрожит, как лист осенней ночью.
Примчался волк и поднял лик к нему.
Глядит из туч Латона вместе с дочью.
Состав ревет — верней, один гудок
взревел во тьме — все стадо спит — и скрежет
стоит такой... того гляди, как рог,

в пустой буфет громадный буфер врежет.
Дрожит графин, дрожит стакан с вином,
дрожит пейзаж, сползает на пол веник,
дрожит мой стол, дрожит герань с окном,
ножи звенят, как горстка мелких денег...
А помнишь — в Орше: точно так же — ночь.
Весна? весна. А мы в депо. Не вспомнил?
Буфет открыт — такой, как здесь, точь-в-точь.
Луна горит, и звезды смотрят в Гомель.
На стрелке — кровь. А в небе — желтый свет:
горит луна меж всех созвездий близких.
Не грех смешать — и вот он дал в буфет,
и тот повис на двух чугунных дисках.

Торец котла глядит своей звездой
невесть куда, но только прочь от смерти.
Котел погас. Но дым валит густой.
(Сама труба нет-нет мелькнет в просвете.)
Горит буфет; и буфер влез в огонь,
вдвоем с луной дробясь в стекле бутылок.
Трещит линоль, и к небу рвется вонь,
прожектор бьет сквозь черный стул в затылок.
Пылает стол, взметает дым кайму
бумажных штор, и тут же скатерть, вторя
струе вина, в большой пролом, во тьму
сквозь весь пожар бежит, как волны моря.
Светлым-светло, глазам смотреть невмочь,
как край стекла, залитый светом, блещет.
Задев его, снаружи льется ночь,
густой рекой беззвучно на пол хлещет.
И щель в полу дрожит: сейчас хлебну.
Не трусь! Не трусь! Трещат торцы сухие.
Салат и сельдь, сверкнув, идут ко дну.
Тарелки — вдрызг, но сельдь в своей стихии.
Лишь ценник цел (одна цена, без слов!),

торчит из волн (как грот, видавший виды).
Иным пловцам руно морских валов
втройне длинней, чем шерсть овец Колхиды.
И пламя — в дверь. Но буфер дверь прижал.
В окно — нельзя: оттуда звезды льются.
Еще чуть-чуть, и ночь зальет пожар.
Столкнув яйцо, огонь вскочил на блюдце.
И вплавь, и вплавь, минуя стойку, печь,
гребя вдоль них своей растущей тенью
к сухой стене, — но доски дали течь,
буфет осел и хлещет наземь темью.

Шипит мускат, на волны масло льет.
Чугунный брус прижался к желтым стульям.
Торец котла своей звездой вперед,
Бог весть куда, глядит сквозь бывший пульман.
Бегун в песке. Другой бегун — в леске.
Блестящий рельс сплелся с кулисой насмерть.
Нельзя разнять. И шток застыл в броске.
И тендер сам по грудь зарылся в насыпь.
Улисс огня плывет в ночной простор.
Кусты чадят. Вокруг трава ослепла:
в былую жизнь прожектор луч простер,
но в данный миг пред ним лишь горстка пепла.
А в нем пейзаж (не так ли жизнь в былом) —
полесский край, опушка в копнах сена,
изгиб реки; хоть тут железный лом
сейчас блестит сильней излучин Сейма.
Былое спит. И сильный луч померк.
Отбойный щит в сухой траве простерся.
Одна труба взглянуть способна вверх:
луна ведет подсчет убыткам ОРСа.

Пожарник, спать, и суд линейный, спать!
Полесье, спать! Метель пошла тиранить.

Чугунный конь бежит по рельсам вспять.
Буфет, кряхтя, встает, упершись в память.
На стрелке — гм — неужто там салат?
Нет-нет, взгляни: салат блеснет в тарелке.
Инспектор, спать! (А суд линейный рад.)
А где же сельдь? Должно быть, вышла к стрелке.
На стрелке — черт, налей еще сюда.
Налей еще вон этой, красной. Впрочем,
налей вон той, чуть-чуть... ах, там вода.
Тогда давай уж красной. Стоп. Не очень.
На стрелке — черт! Как застит свет слеза.
Неужто пьян? Нет-нет, послушны ноги...
А в небе что? — Не грех закрыть глаза.
Закрыть глаза и вверх свернуть с дороги.

Повсюду ночь. Нырнул в пургу откос.
Флюгарки спят в своей застывшей жести.
Инспектор, прочь! Не суй свой длинный нос.
Быстрей вали в постель с портфелем вместе.
Инспектор, спать! Ни рук, ни глаз, ни уст —
блестит окно, инспектор дремлет дома.
Стакан мой пуст, и вот буфет мой пуст,
и сам я пьян, чтоб клясть портфель фантома.
Пурга свистит. Зрачок идет ко дну
в густой ночи. Нужна ли страсти память?
Слезится глаз. Нужна, как ночь огню.
Что ж! тем верней во мрак хрусталик канет.
Вперед, зрачок. Слезись. Не клюнет сельдь.
Леса (слеза) дрожит, и к тонкой жерди
стремится дрожь — и вот трепещет жердь:
леса длинна, но вряд ли глубже смерти.
Кто клюнул? Смерть? Ответь! Леса кружит,
и гнется жердь, как тонкий мост, — вернее:
леса кружит, и вот мой мозг дрожит:
втянуть сюда иль кануть вслед за нею?

Снег, снег летит. Куда все скрылись, мать!
Стаканы спят, припав к салфеткам грязным.
Лишь печь горит, способна век внимать,
раскрыв свой рот, моим словам бессвязным.
Гори, гори и слушай песнь мою.
И если нет во мне стремленья к мнимым
страстям — возьми ее в струю,
в свою струю — и к небу вместе с дымом.
Зрачок на дне. Другой в огне. При мне
лишь песнь моя да хлеб на грязной вилке.
Гори сильней. Ведь каждый звук в огне
бушует так, как некий дух в бутылке.
Пусть все мертво. Но здесь, в чужом краю
в час поздний, печь, быть может, в час последний,
я песнь свою тебе одной пою;
метель свистит, и ночь гремит в передней.

Пришла зима. Из снежных житниц снег
летит в поля, в холмы, в леса, в овраги,
на крыши к нам (щедра!), порой — до стрех
скрывает их — и те белей бумаги.
Пришла зима. Исчез под снегом луг.
Белым-бело. И видит каждый ворон,
как сам Борей впрягся в хрустальный плуг,
вослед норд-ост влечет упряжку борон.
Греби, греби, свисти, свисти. Шалишь!
Ведь это всё, не правда ль, ветры, прихоть.
Ну что взойдет из наших темных крыш?
Какой росток из наста пустит Припять?
Греби, греби, свисти, свисти, зима.
Свисти, Борей, и мчись, норд-ост, меж просек!
Труба дымит. Лиса скользит с холма.
Овца дрожит. Никто не жнет, не косит.
Никто не жнет. Лишь мальчик, сжав снежок,
стащив треух, ползет на приступ скрытно.

Ура, сугроб! и ядра мечет в бок.
Ура, копна! хотя косцов не видно.
Греби, греби, свисти, свисти, скрывай
от взоров лес, поля, овраги, гумна,
заборы, пни, и край земли сливай
с чертой небес безумно, нет, бездумно.
И пусть — ни зги, и пусть уж нет дорог
меж сел, меж туч, и пусть пурга тиранит.
Того гляди, с пути собьется Бог
и в поздний час в Полесье к нам нагрянет.
Греби, греби, греми, как майский гром.
Спеши, спеши попасть в поля разверсты.
Греми, греми, раскрой и тот закром,
раскрой закром, откуда льются звезды.
Раскрой врата — и слышен зимний скрип,
и рваных туч бегут поспешно стаи.
Позволь узреть Весы, Стрельца и Рыб,
Стрельца и Рыб... и Рыб... Хоть реки стали.
Врата скрипят, и смотрит звездный мир
на точки изб, что спят в убранстве снежном,
и чуть дрожит, хоть месяц дым затмил,
свой негатив узрев в пространстве снежном.

Пришла зима. Ни рыб, ни мух, ни птиц.
Лишь воет волк да зайцы пляшут храбро.
Стучит пешня: плотва, встречай сестриц!
Поет рожок, чтоб дать мишень кентавру.

1964—1965

ДВА ЧАСА В РЕЗЕРВУАРЕ

Мне скучно, бес...
А. С. Пушкин

I

Я есть антифашист и антифауст.
Их либе жизнь и обожаю хаос.
Их бин хотеть, геноссе официрен,
дем цайт цум Фауст коротко шпацирен.

II

Не подчиняясь польской пропаганде,
он в Кракове грустил о фатерланде,
мечтал о философском диаманте
и сомневался в собственном таланте.
Он поднимал платочки женщин с пола.
Он горячился по вопросам пола.
Играл в команде факультета в поло.

Он изучал картежный катехизис
и познавал картезианства сладость.
Потом полез в артезианский кладезь
эгоцентризма. Боевая хитрость,
которой отличался Клаузевиц,
была ему, должно быть, незнакома,
поскольку фатер был краснодеревец.

Цумбайшпиль, бушевала глаукома,
чума, холера унд туберкулёзен.
Он защищался шварце папиросен.
Его влекли цыгане или мавры.
Потом он был помазан в бакалавры.
Потом снискал лиценциата лавры
и пел студентам: «Кембрий... динозавры...»

Немецкий человек. Немецкий ум.
Тем более, когито эрго сум.
Германия, конечно, юбер аллес.
(В ушах звучит знакомый венский вальс.)
Он с Краковом простился без надрыва
и покатил на дрожках торопливо
за кафедрой и честной кружкой пива.

III

Сверкает в тучах месяц-молодчина.
Огромный фолиант. Над ним — мужчина.
Чернеет меж густых бровей морщина.
В глазах — арабских кружев чертовщина.
В руке дрожит кордовский черный грифель.
В углу его рассматривает в профиль
арабский представитель Меф-ибн-Стофель.

Пылают свечи. Мышь скребет под шкафом.
«Герр доктор, полночь». — «Яволь, шлафен,
шлафен»
Две черных пасти произносят: «мяу».
Неслышно с кухни входит идиш фрау.
В руках ее шипит омлет со шпеком.
Герр доктор чертит адрес на конверте:
«Готт штрафе Ингланд, Лондон, Фрэнсис Бэкон».

Приходят и уходят мысли, черти.
Приходят и уходят гости, годы...
Потом не вспомнить платьев, слов, погоды.
Так проходили годы шито-крыто.
Он знал арабский, но не знал санскрита.
И с опозданьем, гей, была открыта
им айне кляйне фройляйн Маргарита.

Тогда он написал в Каир депешу,
в которой отказал он черту душу.
Приехал Меф, и он переоделся.
Он в зеркало взглянул и убедился,
что навсегда теперь переродился.
Он взял букет и в будуар девицы
отправился. Унд вени, види, вици.

IV

Их либе ясность. Я. Их либе точность.
Их бин просить не видеть здесь порочность.
Ви намекайт, что он любил цветочниц.
Их понимайт, что дас ист ганце срочность.
Но эта сделка махт дер гроссе минус.
Ди тойчно шпрахе, махт дер гроссе синус:
душа и сердце найн гехапт на вынос.

От человека, аллес, ждать напрасно:
«Остановись, мгновенье, ты прекрасно».
Меж нами дьявол бродит ежечасно
и поминутно этой фразы ждет.
Однако человек, майн либе геррен,
настолько в сильных чувствах неуверен,
что поминутно лжет как сивый мерин,
но, словно Гете, маху не дает.

Унд гроссер дихтер Гете дал описку,
чем весь сюжет подверг а ганце риску.
И Томас Манн сгубил свою подписку,
а шер Гуно смутил свою артистку.
Искусство есть искусство есть искусство...
Но лучше петь в раю, чем врать в концерте.
Ди кунст гехапт потребность в правде чувства.

В конце концов, он мог бояться смерти.
Он точно знал, откуда взялись черти.
Он съел дер дог в Ибн-Сине и в Галене.
Он мог дас вассер осушить в колене.
И возраст мог он указать в полене.
Он знал, куда уходят звезд дороги.

Но доктор Фауст нихц не знал о Боге.

V

Есть мистика. Есть вера. Есть Господь.
Есть разница меж них. И есть единство.
Одним вредит, других спасает плоть.
Неверье — слепота, а чаще — свинство.

Бог смотрит вниз. А люди смотрят вверх.
Однако интерес у всех различен.
Бог органичен. Да. А человек?
А человек, должно быть, ограничен.

У человека есть свой потолок,
держащийся вообще не слишком твердо.
Но в сердце льстец отыщет уголок,
и жизнь уже видна не дальше черта.

Таков был доктор Фауст. Таковы
Марло и Гете, Томас Манн и масса
певцов, интеллигентов унд, увы,
читателей в среде другого класса.

Один поток сметает их следы,
их колбы — доннерветтер! — мысли, узы...
И дай им Бог успеть спросить: «Куды?» —
и услыхать, что вслед им крикнут Музы.

А честный немец сам дер вег цурюк,
не станет ждать, когда его попросят.
Он вальтер достает из теплых брюк
и навсегда уходит в вальтер-клозет.

VI

Фройляйн, скажите: вас ист дас «инкубус»?
Инкубус дас ист айне кляйне глобус.
Нох гроссер дихтер Гете задал ребус.
Унд ивиковы злые журавли,
из веймарского выпорхнув тумана,
ключ выхватили прямо из кармана.
И не спасла нас зоркость Эккермана.
И мы теперь, матрозен, на мели.

Есть истинно духовные задачи.
А мистика есть признак неудачи
в попытке с ними справиться. Иначе,
их бин, не стоит это толковать.
Цумбайшпиль, потолок — преддверье крыши.
Поэмой больше, человеком — ницше.
Я вспоминаю Богоматерь в нише,
обильный фриштик, поданный в кровать.

Опять зептембер. Скука. Полнолунье.
В ногах мурлычет серая колдунья.
А под подушку положил колун я...
Сейчас бы шнапсу... это... апгемахт.
Яволь. Зептембер. Портится характер.
Буксует в поле тарахтящий трактор.
Их либе жизнь и «Фелькиш Беобахтер».
Гут нахт, майн либе геррен. Я. Гут нахт.

8 сентября 1965
Норенская

ФЕЛИКС

Пьяной горечью Фалерна
чашу мне наполни, мальчик.
А. С Пушкин (из Катулла)

I

Дитя любви, он знает толк в любви.
Его осведомленность просто чудо.
Должно быть, это у него в крови.
Он знает лучше нашего, откуда
он взялся. И приходится смотреть
в окошко, втолковать ему пытаясь
все таинство, и, Господи, краснеть.
Его уж не устраивают аист,
собачки, птички... Брем ему не враг,
но чем он посодействует? Ведь нечем.
Не то чтобы в его писаньях мрак.
Но этот мальчик слишком... человечен.
Он презирает бремовский мирок.
Скорее — притворяясь удивленным
(в чем можно видеть творчества залог),
он склонен рыться в неодушевленном.
Белье горит в глазах его огнем,
диван его приковывает к пятнам.
Он назван в честь Дзержинского, и в нем
воистину исследователь спрятан.
И, спрашивая, знает он ответ.
Обмолвки, препинания, смятенье
нужны ему, как цезий для ракет,

чтоб вырваться за скобки тяготенья.
Он не палач. Он врачеватель. Но,
избавив нас от правды и боязни,
он там нас оставляет, где темно.
И это хуже высылки и казни.
Он просто покидает нас, в тупик
поставив, отправляя в дальний угол,
как внуков расшалившихся старик,
и яростно кидается на кукол.
И те врача признать в нем в тот же миг
готовы под воздействием иголок,
когда б не расковыривал он их,
как самый настоящий археолог.
Но будущее, в сущности, во мгле.
Его-то уж во мгле, по крайней мере.
И если мы сегодня на земле,
то он уже, конечно, в стратосфере.
В абстракциях прокладывая путь,
он щупает подвязки осторожно.
При нем опасно лямку подтянуть,
а уж чулок поправить — невозможно.
Он тут как тут. Глаза его горят
(как некие скопления туманных
планет, чьи существа не говорят),
а руки, это главное, в карманах.
И самая далекая звезда
видна ему на дне его колодца.
А что с ним будет, Господи, когда
до средств он превентивных доберется!
Гагарин — не иначе. И стакан
придавливает к стенке он соседской.
Там спальня. Межпланетный ураган
бушует в опрокинувшейся детской.
И, слыша, как отец его, смеясь,
на матушке расстегивает лифчик,

он, нареченный Феликсом, трясясь,
бормочет в исступлении: «Счастливчик».

Да, дети только дети. Пусть азарт
подхлестнут приближающимся мартом...
Однако авангард есть авангард,
и мы когда-то были авангардом.
Теперь мы остаемся позади,
и это, понимаешь, неприятно —
не то что эти зубы в бигуди,
растерзанные трусики и пятна.
Все это ерунда. Но далеко ль
уйдет он в познавании украдкой?
Вот, например, герань, желтофиоль
ему уже не кажутся загадкой.
Да, книги, — те его ошеломят.
Все Жанны эти, Вертеры, Эмили...
Но все ж они — не плоть, не аромат.
Надолго ль нас они ошеломили?
Они нам были, более всего,
лишь средством достижения успеха.
Порою — подтвержденьем. Для него
они уже, по-моему, лишь эхо.
К чему ему и всадница, и конь,
и сумрачные скачки по оврагу?
Тому, в ком разгорается огонь,
уж лучше не подсовывать бумагу.
Представь себе иронию, когда
какой-нибудь отъявленный Ромео
все проиграет Феликсу. Беда!
А просто обращался неумело
с ундиной белолицей — рикошет
убийственный стрелков макулатуры.
И вот тебе, пожалуйста, — сюжет!
И может быть, вторые Диоскуры.

А может, это — живопись. Вопрос
некстати, молвишь, заданный. Некстати ль?
Знаток любви, исследователь поз
и сам изобретатель — испытатель,
допустим, положения — бутон
на клумбе; и расчеты интервала,
в цветении подобранного в тон
пружинистою клумбой покрывала.
Не живопись? На клумбе с бахромой.
Подрамник в белоснежности упрямой...
И вот тебе цветение зимой.
И, в пику твоим фикусам, за рамой.
Нет, это хорошо, что он рывком
проскакивает нужное пространство!
Он наверстает в чем-нибудь другом,
упрямством заменяя постоянство.
Все это — и чулки, и бельецо,
все лифчики, которые обмякли, —
ведь это маска, скрывшая лицо
чего-то грандиозного, не так ли?
Все это — аллегория. Он прав:
все это линза, полная лучами,
пучком собачек, ласточек и трав.
Он прав, что оставляет за плечами
подробности, — он знает результат!
А в этом-то и суть иносказаний!
Он прав, как наступающий солдат,
бегущий от словесных состязаний.
Завоеватель! Кир! Наполеон!
Мишень свою на звездах обнаружив,
сквозь тучи он взлетает, заряжен,
в знакомом окружении из кружев.
Он — авангард. Спеши иль не спеши,
мы отстаем, и это неприятно.
Он ростом мал? Но губы хороши!

Пусть речь его туманна и невнятна.
Он мчится, закусивши удила.
Пробел он громоздит на промежуток.
И может быть, он — экая пчела! —
такой отыщет лютик-баламутик
(а тот его жужжание поймет
и тонкий хоботок ему раскрасит),
что я воображаю этот мед,
не чуждый ни скворечников, ни пасек!

II

Эрот, не объяснишь ли ты причин
того (конечно, в частности, не в массе),
что дети превращаются в мужчин,
упорно застревая в ипостаси
подростка. Чудодейственный нектар
им сохраняет внешнюю невинность.
Что это: наказанье или дар?
А может быть, бессмертья разновидность?
Ведь боги вечно молоды, а мы
как будто их подобия, не так ли?
Хоть кудри наши вроде бахромы,
а в старости и вовсе уж из пакли.
Но Феликс — исключенье. Правота
закона — в исключении. Астарта
поклонница мужчин без живота.
А может, это свойство авангарда?
Избранничество? Миф календаря?
Какой-нибудь фаллической колонне
служение? И роль у алтаря?
И в общем, ему место в Парфеноне.
Ответь, Эрот, загадка велика.
Хотелось бы, хоть речь твоя бесплотна,

хоть что-то в жизни знать наверняка.
Хоть мнение о Феликсе. — «Охотно.
Хоть лирой привлекательно звеня,
настойчиво и несколько цветисто,
ты заставляешь говорить меня,
чтоб избежать прозванья моралиста.

Причина в популярности любви
и в той необходимости полярной,
бушующей неистово в крови,
что делает любовь... непопулярной.
Вот так же, как скопление планет
астронома заглатывает призма,
все бесконечно малое, поэт,
в любви куда важней релятивизма.
И мы про календарь не говорим
(особенно зимой твоей морозной).
Он ростом мал? — тем лучше обозрим
какой-нибудь особой скрупулезной.
Поскольку я гляжу сюда с высот,
мне кажется, он ростом не обижен:
все, даже неподвижное, растет
в глазах того, кто сам не неподвижен.
И данный мой ответ на твой вопрос
отнюдь не апология смиренья.
Ведь Феликс твой немыслимый подрос
за время твоего стихотворенья.
Не сетуй же, что все ж ты не дошел
до подлинного смысла авангарда.
Пусть зависть вызывает ореол
заметного на финише фальстарта.
Но зрите мироздания углы,
должно быть, одинаково вы оба,
поскольку хоботок твоей пчелы
всего лишь разновидность телескопа.

Но не напрасно вопрошаешь ты,
что выше человека, ниже Бога,
хотя бы с точки зренья высоты,
как пагода, костел и синагога.

Туда не проникает телескоп.
А если тебе чудится острота
в словах моих — тогда ты не Эзоп.
Приветствие Эзопу от Эрота».

III

Налей вина и сам не уходи,
мой собеседник в зеркале. Быть может,
хотя сейчас лишь утро впереди,
нас кто-нибудь с тобою потревожит.
Печь выстыла, но прыгать в темноту
не хочется. Не хочется мне «кар»а,
роняемого клювом на лету,
чтоб ночью просыпаться от угара.

Сроднишься с беспорядком в голове.
Сроднишься с тишиною; для разбега
не отличая шелеста в траве
от шороха кружащегося снега.
А это снег. Шумит он? Не шумит.
Лишь пар тут шелестит, когда ты дышишь.
И если гром снаружи загремит,
сроднишься с ним и грома не услышишь.
Сроднишься, что дымок от папирос
слегка сопротивляется зловонью,
и рощицу всклокоченных волос,
как продолженье хаоса, ладонью

придавишь; и широкие круги
пойдут там, как на донышке колодца.
И разум испугается руки,
хотя уже ничто там не уймется.
Сроднишься. Лысоват. Одутловат.
Ссутулясь, в полушубке полинялом.
Часы определяя наугад.
И не разлей водою с одеялом.
Состаришься. И к зеркалу рука
потянется. «Тут зеркало осталось».
И в зеркале увидишь старика.
И это будет подлинная старость.
Такая же, как та, когда, хрипя,
помешивает искорки в камине;
когда не будет писем от тебя,
как нету их, возлюбленная, ныне.
Как та, когда глядит и не моргнет
таившееся с юности бесстыдство...

И Феликса ты вспомнишь, и кольнет
не ревность, а скорее любопытство.
Так вот где ты настиг его! Так вот
оно, его излюбленное место,
давнишнее. И, стало быть, живот
он прятал под матроской. Интересно.
С полярных, значит, начали концов.
Поэтому и действовал он скрытно.
Так вот куда он гнал своих гонцов.
И он сейчас в младенчестве. Завидно!
И Феликса ты вспомнишь: не моргнет,
бывало, и всегда в карманах руки.
(Да, подлинная старость!) И кольнет.
Но что это: по поводу разлуки
с Пиладом негодующий Орест?
Бегущая за вепрем Аталанта?

Иль зависть заурядная? Протест
нормального — явлению таланта?

Нормальный человек — он восстает
противу сверхъестественного. Если
оно с ним даже курит или пьет,
поблизости разваливаясь в кресле.
Нормальный человек — он ни за что
не спустит из... А что это такое
нормальный че... А это решето
в обычном состоянии покоя.

IV

Как жаль, что архитекторы в былом,
немножко помешавшись на фасадах
(идущих, к сожалению, на слом),
висячие сады на балюстрадах
лепившие из гипса, виноград
развесившие щедро на балконы,
насытившие, словом, Ленинград,
к пилястрам не лепили панталоны.
Так был бы мир избавлен от чумы
штанишек, доведенных инфернально
до стадии простейшей бахромы.
И Феликс развивался бы нормально.

1965

РЕЧЬ О ПРОЛИТОМ МОЛОКЕ

I

1

Я пришел к Рождеству с пустым карманом.
Издатель тянет с моим романом.
Календарь Москвы заражен Кораном.
Не могу я встать и поехать в гости
ни к приятелю, у которого плачут детки,
ни в семейный дом, ни к знакомой девке.
Всюду необходимы деньги.
Я сижу на стуле, трясусь от злости.

2

Ах, проклятое ремесло поэта.
Телефон молчит, впереди диета.
Можно в месткоме занять, но это —
все равно что занять у бабы.
Потерять независимость много хуже,
чем потерять невинность. Вчуже,
полагаю, приятно мечтать о муже,
приятно произносить «пора бы».

3

Зная мой статус, моя невеста
пятый год за меня ни с места;

и где она нынче, мне неизвестно:
правды сам черт из нее не выбьет.
Она говорит: «Не горюй напрасно.
Главное — чувства! Единогласно?»
И это с ее стороны прекрасно.
Но сама она, видимо, там, где выпьет.

4

Я вообще отношусь с недоверьем к ближним.
Оскорбляю кухню желудком лишним.
В довершенье всего, досаждаю личным
взглядом на роль человека в жизни.
Они считают меня бандитом,
издеваются над моим аппетитом.
Я не пользуюсь у них кредитом.
«Наливайте ему пожиже!»

5

Я вижу в стекле себя холостого.
Я факта в толк не возьму простого,
как дожил до Рождества Христова
Тысяча Девятьсот Шестьдесят Седьмого.
Двадцать шесть лет непрерывной тряски,
рытья по карманам, судейской таски,
ученья строить Закону глазки,
изображать немого.

6

Жизнь вокруг идет как по маслу.
(Подразумеваю, конечно, массу.)

Маркс оправдывается. Но, по Марксу,
давно пора бы меня зарезать.
Я не знаю, в чью пользу сальдо.
Мое существование парадоксально.
Я делаю из эпохи сальто.
Извините меня за резвость!

7

То есть все основания быть спокойным.
Никто уже не кричит: «По коням!»
Дворяне выведены под корень.
Ни тебе Пугача, ни Стеньки.
Зимний взят, если верить байке.
Джугашвили хранится в консервной банке.
Молчит орудие на полубаке.
В голове моей — только деньги.

8

Деньги прячутся в сейфах, в банках,
в чулках, в полу, в потолочных балках,
в несгораемых кассах, в почтовых бланках.
Наводняют собой Природу!
Шумят пачки новеньких ассигнаций,
словно вершины берез, акаций.
Я весь во власти галлюцинаций.
Дайте мне кислороду!

9

Ночь. Шуршание снегопада.
Мостовую тихо скребет лопата.

В окне напротив горит лампада.
Я торчу на стальной пружине.
Вижу только лампаду. Зато икону
я не вижу. Я подхожу к балкону.
Снег на крышу кладет попону,
и дома стоят, как чужие.

II

10

Равенство, брат, исключает братство.
В этом следует разобраться.
Рабство всегда порождает рабство.
Даже с помощью революций.
Капиталист развел коммунистов.
Коммунисты превратились в министров.
Последние плодят морфинистов.
Почитайте, что пишет Луций.

11

К нам не плывет золотая рыбка.
Маркс в производстве не вяжет лыка.
Труд не является товаром рынка.
Так говорить — оскорблять рабочих.
Труд — это цель бытия и форма.
Деньги — как бы его платформа.
Нечто помимо путей прокорма.
Размотаем клубочек.

12

Вещи больше, чем их оценки.
Сейчас экономика просто в центре.
Объединяет нас вместо церкви,
объясняет наши поступки.
В общем, каждая единица
по своему существу — девица.
Она желает объединиться.
Брюки просятся к юбке.

13

Шарик обычно стремится в лузу.
(Я, вероятно, терзаю Музу.)
Не Конкуренции, но Союзу
принадлежит прекрасное завтра.
(Я отнюдь не стремлюсь в пророки.
Очень возможно, что эти строки
сократят ожиданья сроки:
«Год засчитывать за два».)

14

Пробил час и пора настала
для брачных уз Труда — Капитала.
Блеск презираемого металла
(дальше — изображенье в лицах)
приятней, чем пустота в карманах,
проще, чем чехарда тиранов,
лучше цивилизации наркоманов,
общества, выросшего на шприцах.

15

Грех первородства — не суть сиротства.
Многим, бесспорно, любезней скотство.
Проще различье найти, чем сходство:
«У Труда с Капиталом контактов нету».
Тьфу-тьфу, мы выросли не в Исламе,
хватит трепаться о пополаме.
Есть влечение между полами.
Полюса создают планету.

16

Как холостяк, я грущу о браке.
Не жду, разумеется, чуда в раке.
В семье есть ямы и буераки.
Но супруги — единственный вид владельцев
того, что они создают в усладе.
Им не требуется «Не укради».
Иначе все пойдем Христа ради.
Поберегите своих младенцев!

17

Мне, как поэту, все это чуждо.
Больше: я знаю, что «коемуждо...»
Пишу и вздрагиваю: вот чушь-то,
неужто я против законной власти?
Время спасет, коль они неправы.
Мне хватает скандальной славы.
Но плохая политика портит нравы.
Это уж — по нашей части!

18

Деньги похожи на добродетель.
Не падая сверху — Аллах свидетель, —
деньги чаще летят на ветер
не хуже честного слова.
Ими не следует одолжаться.
С нами в гроб они не ложатся.
Им предписано умножаться,
словно в баснях Крылова.

19

Задние мысли сильней передних.
Любая душа переплюнет ледник.
Конечно, обществу проповедник
нужней, чем слесарь, науки.
Но, пока нигде не слыхать пророка,
предлагаю — дабы еще до срока
не угодить в объятья порока:
займите чем-нибудь руки.

20

Я не занят, в общем, чужим блаженством.
Это выглядит красивым жестом.
Я занят внутренним совершенством:
полночь — полбанки — лира.
Для меня деревья дороже леса.
У меня нет общего интереса.
Но скорость внутреннего прогресса
больше, чем скорость мира.

21

Это — основа любой известной
изоляции. Дружба с бездной
представляет сугубо местный
интерес в наши дни. К тому же
это свойство несовместимо
с братством, равенством и, вестимо,
благородством невозместимо,
недопустимо в муже.

22

Так, тоскуя о превосходстве,
как Топтыгин на воеводстве,
я пою вам о производстве.
Буде указанный выше способ
всеми правильно будет понят,
общество лучших сынов нагонит,
факел разума не уронит,
осчастливит любую особь.

23

Иначе — верх возьмут телепаты,
буддисты, спириты, препараты,
фрейдисты, неврологи, психопаты.
Кайф, состояние эйфории,
диктовать нам будет свои законы.
Наркоманы прицепят себе погоны.
Шприц повесят вместо иконы
Спасителя и Святой Марии.

24

Душу затянут большой вуалью.
Объединят нас сплошной спиралью.
Воткнут в розетку с этил-моралью.
Речь освободят от глагола.
Благодаря хорошему зелью
закружимся в облаках каруселью.
Будем спускаться на землю
исключительно для укола.

25

Я уже вижу наш мир, который
покрыт паутиной лабораторий.
А паутиною траекторий
покрыт потолок. Как быстро!
Это неприятно для глаза.
Человечество увеличивается в три раза.
В опасности белая раса.
Неизбежно смертоубийство.

26

Либо нас перережут цветные.
Либо мы их сошлем в иные
миры. Вернемся в свои пивные.
Но то и другое — не христианство.
Православные! Это не дело!
Что вы смотрите обалдело?!
Мы бы предали Божье Тело,
расчищая себе пространство.

27

Я не воспитывался на софистах.
Есть что-то дамское в пацифистах.
Но чистых отделять от нечистых —
не наше право, поверьте.
Я не указываю на скрижали.
Цветные нас, бесспорно, прижали.
Но не мы их на свет рожали,
не нам предавать их смерти.

28

Важно многим создать удобства.
(Это можно найти у Гоббса.)
Я сижу на стуле, считаю до ста.
Чистка — грязная процедура.
Не принято плясать на могиле.
Создать изобилие в тесном мире —
это по-христиански. Или:
в этом и состоит Культура.

29

Нынче поклонники оборота
«Религия — опиум для народа»
поняли, что им дана свобода,
дожили до золотого века.
Но в таком реестре (издержки слога)
свобода не выбрать — весьма убога.
Обычно тот, кто плюет на Бога,
плюет сначала на человека.

30

«Бога нет. А земля в ухабах».
«Да, не видать. Отключусь на бабах»
Творец, творящий в таких масштабах,
делает слишком большие рейды
между объектами. Так что то, что
там Его царствие, — это точно.
Оно от мира сего заочно.
Сядьте на свои табуреты.

31

Ночь. Переулок. Мороз блокады.
Вдоль тротуаров лежат карпаты.
Планеты раскачиваются, как лампады,
которые Бог возжег в небосводе
в благоговенье своем великом
перед непознанным нами ликом
(поэзия делает смотр уликам),
как в огромном кивоте.

III

32

В Новогоднюю ночь я сижу на стуле.
Ярким блеском горят кастрюли.
Я прикладываюсь к микстуре.
Нерв разошелся, как черт в сосуде.
Ощущаю легкий пожар в затылке.

Вспоминаю выпитые бутылки,
вологодскую стражу, Кресты, Бутырки.
Не хочу возражать по сути.

33

Я сижу на стуле в большой квартире.
Ниагара клокочет в пустом сортире.
Я себя ощущаю мишенью в тире,
вздрагиваю при малейшем стуке.
Я закрыл парадное на засов, но
ночь в меня целит рогами Овна,
словно Амур из лука, словно
Сталин в XVII съезд из «тулки».

34

Я включаю газ, согреваю кости.
Я сижу на стуле, трясусь от злости.
Не желаю искать жемчуга в компосте!
Я беру на себя эту смелость!
Пусть изучает навоз кто хочет!
Патриот, господа, не крыловский кочет.
Пусть КГБ на меня не дрочит.
Не бренчи ты в подкладке, мелочь!

35

Я дышу серебром и харкаю медью!
Меня ловят багром и дырявой сетью.
Я дразню гусей и иду к бессмертью,
дайте мне хворостину!

Я беснуюсь, как мышь в темноте сусека!
Выносите святых и портрет Генсека!
Раздается в лесу топор дровосека.
Поваляюсь в сугробе, авось остыну.

36

Ничего не остыну! Вообще забудьте!
Я помышляю почти о бунте!
Не присягал я косому Будде,
за червонец помчусь за зайцем!
Пусть закроется — где стамеска! —
яснополянская хлеборезка!
Непротивленье, панове, мерзко.
Это мне — как серпом по яйцам!

37

Как Аристотель на дне колодца,
откуда не ведаю, что берется.
Зло существует, чтоб с ним бороться,
а не взвешивать на коромысле.
Всех, скорбящих по индивиду,
всех, подверженных конъюнктивиту, —
всех к той матери по алфавиту:
демократия в полном смысле!

38

Я люблю родные поля, лощины,
реки, озера, холмов морщины.
Все хорошо. Но дерьмо мужчины:
в теле, а духом слабы.

Это я верный закон накнокал.
Все утирается ясный сокол.
Господа, разбейте хоть пару стекол!
Как только терпят бабы?

39

Грустная ночь у меня сегодня.
Смотрит с обоев былая сотня.
Можно поехать в бордель, и сводня —
нумизматка — будет согласна.
Лень отклеивать, суетиться.
Остается тихо сидеть, поститься
да напротив в окно креститься,
пока оно не погасло.

40

«Зелень лета, эх, зелень лета!
Что мне шепчет куст бересклета?
Хорошо пройтись без жилета!
Зелень лета вернется.
Ходит девочка, эх, в платочке.
Ходит по полю, рвет цветочки.
Взять бы в дочки, эх, взять бы в дочки.
В небе ласточка вьется».

14 января 1967

ПРОЩАЙТЕ, МАДЕМУАЗЕЛЬ ВЕРОНИКА

I

Если кончу дни под крылом голубки,
что вполне реально, раз мясорубки
становятся роскошью малых наций —
после множества комбинаций
Марс перемещается ближе к пальмам;
а сам я мухи не трону пальцем
даже в ее апогей, в июле —
словом, если я не умру от пули,
если умру я в постели, в пижаме,
ибо принадлежу к великой державе,

II

то лет через двадцать, когда мой отпрыск,
не сумев отоварить лавровый отблеск,
сможет сам зарабатывать, я осмелюсь
бросить свое семейство — через
двадцать лет, окружен опекой
по причине безумия, в дом с аптекой
я приду пешком, если хватит силы,
за единственным, что о тебе в России
мне напомнит. Хоть против правил
возвращаться за тем, что другой оставил.

III

Это в сфере нравов сочтут прогрессом.
Через двадцать лет я приду за креслом,
на котором ты предо мной сидела
в день, когда для Христова Тела
завершались распятья муки —
в пятый день Страстной ты сидела, руки
скрестив, как Буонапарт на Эльбе.
И на всех перекрестках белели вербы.
Ты сложила руки на зелень платья,
не рискуя их раскрывать в объятья.

IV

Данная поза, при всей приязни,
это лучшая гемма для нашей жизни.
И она — отнюдь не недвижность. Это —
апофеоз в нас самих предмета:
замена смиренья простым покоем.
То есть новый вид христианства, коим
долг дорожить и стоять на страже
тех, кто, должно быть, способен, даже
когда придет Гавриил с трубою,
мертвый предмет продолжать собою!

V

У пророков не принято быть здоровым.
Прорицатели в массе увечны. Словом,
я не более зряч, чем Назонов Калхас.
Потому прорицать — все равно что кактус

или львиный зев подносить к забралу.
Все равно что учить алфавит по Брайлю.
Безнадежно. Предметов, по крайней мере,
на тебя похожих на ощупь, в мире,
что называется, кот наплакал.
Какова твоя жертва, таков оракул.

VI

Ты, несомненно, простишь мне этот
гаерский тон. Это лучший метод
сильные чувства спасти от массы
слабых. Греческий принцип маски
снова в ходу. Ибо в наше время
сильные гибнут. Тогда как племя
слабых — плодится и врозь и оптом.
Прими же сегодня, как мой постскриптум
к теории Дарвина, столь пожухлой,
эту новую правду джунглей.

VII

Через двадцать лет, ибо легче вспомнить
то, что отсутствует, чем восполнить
это чем-то иным снаружи;
ибо отсутствие права хуже,
чем твое отсутствие, — новый Гоголь,
насмотреться сумею, бесспорно, вдоволь,
без оглядки вспять, без былой опаски, —
как волшебный фонарь Христовой Пасхи
оживляет под звуки воды из крана
спинку кресла пустого, как холст экрана.

VIII

В нашем прошлом — величье. В грядущем — проза
Ибо с кресла пустого не больше спроса,
чем с тебя, в нем сидевшей Ла Гарды тише,
руки сложив, как писал я выше.
Впрочем, в сумме своей, наших дней объятья
много меньше раскинутых рук распятья.
Так что эта находка певца хромого
сейчас, на Страстной Шестьдесят Седьмого,
предо мной маячит подобьем вето
на прыжки в девяностые годы века.

IX

Если меня не спасет та птичка,
то есть если она не снесет яичка,
и в сем лабиринте без Ариадны
(ибо у смерти есть варианты,
предвидеть которые — тоже доблесть)
я останусь один и, увы, сподоблюсь
холеры, доноса, отправки в лагерь,
то — если только не ложь, что Лазарь
был воскрешен, то я сам воскресну.
Тем скорее, знаешь, приближусь к креслу.

X

Впрочем, спешка глупа и греховна. Vale!
То есть некуда так поспешать. Едва ли
может крепкому креслу грозить погибель.
Ибо у нас, на Востоке, мебель

служит трем поколеньям кряду.
А я исключаю пожар и кражу.
Страшней, что смешать его могут с кучей
других при уборке. На этот случай
я даже сделать готов зарубки,
изобразив голубка́ голу́бки.

XI

Пусть теперь кружит, как пчелы ульев,
по общим орбитам столов и стульев
кресло твое по ночной столовой.
Клеймо — не позор, а основа новой
астрономии, что — перейдем на шепот —
подтверждает армейско-тюремный опыт:
заклейменные вещи — источник твердых
взглядов на мир у живых и мертвых.
Так что мне не взирать, как в подобны лица,
на похожие кресла с тоской Улисса.

XII

Я — не сборщик реликвий. Подумай, если
эта речь длинновата, что речь о кресле
только повод проникнуть в другие сферы.
Ибо от всякой великой веры
остаются, как правило, только мощи.
Так суди же о силе любви, коль вещи
те, к которым ты прикоснулась ныне,
превращаю — при жизни твоей — в святыни.
Посмотри: доказуют такие нравы
не величье певца, но его державы.

XIII

Русский орел, потеряв корону,
напоминает сейчас ворону.
Его, горделивый недавно, клекот
теперь превратился в картавый рокот.
Это — старость орлов или — голос страсти,
обернувшейся следствием, эхом власти.
И любовная песня — немногим тише.
Любовь — имперское чувство. Ты же
такова, что Россия, к своей удаче,
говорить не может с тобой иначе.

XIV

Кресло стоит и вбирает теплый
воздух прихожей. В стояк за каплей
падает капля из крана. Скромно
стрекочет будильник под лампой. Ровно
падает свет на пустые стены
и на цветы у окна, чьи тени
стремятся за раму продлить квартиру.
И вместе всё создает картину
того в этот миг — и вдали, и возле, —
как было до нас. И как будет после.

XV

Доброй ночи тебе, да и мне — не бденья.
Доброй ночи стране моей для сведенья
личных счетов со мной пожелай оттуда,
где, посредством верст или просто чуда,

ты превратишься в почтовый адрес.
Деревья шумят за окном, и абрис
крыш представляет границу суток...
В неподвижном теле порой рассудок
открывает в руке, как в печи, заслонку.
И перо за тобою бежит вдогонку.

XVI

Не догонит!.. Поелику ты — как облак.
То есть облик девы, конечно, облик
души для мужчины. Не так ли, Муза?
В этом причины и смерть союза.
Ибо души — бесплотны. Ну что ж, тем дальше
ты от меня. Не догонит!.. Дай же
на прощание руку. На том спасибо.
Величава наша разлука, ибо
навсегда расстаемся. Смолкает цитра.
Навсегда — не слово, а вправду цифра,
чьи нули, когда мы зарастем травою,
перекроют эпоху и век с лихвою.

1967

ПИСЬМО ГЕНЕРАЛУ Z.

Война, Ваша Светлость, пустая игра.
Сегодня — удача, а завтра — дыра...

Песнь об осаде Ла-Рошели

Генерал! Наши карты — дерьмо. Я пас.
Север вовсе не здесь, но в Полярном Круге.
И Экватор шире, чем ваш лампас.
Потому что фронт, генерал, на Юге.
На таком расстоянье любой приказ
превращается рацией в буги-вуги.

Генерал! Ералаш перерос в бардак.
Бездорожье не даст подвести резервы
и сменить белье: простыня — наждак;
это, знаете, действует мне на нервы.
Никогда до сих пор, полагаю, так
не был загажен алтарь Минервы.

Генерал! Мы так долго сидим в грязи,
что король червей загодя ликует,
и кукушка безмолвствует. Упаси,
впрочем, нас услыхать, как она кукует.
Я считаю, надо сказать мерси,
что противник не атакует.

Наши пушки уткнулись стволами вниз,
ядра размякли. Одни горнисты,
трубы свои извлекая из
чехлов, как заядлые онанисты,
драят их сутками так, что вдруг
те исторгают звук.

Офицеры бродят, презрев устав,
в галифе и кителях разной масти.
Рядовые в кустах на сухих местах
предаются друг с другом постыдной страсти,
и краснеет, спуская пунцовый стяг,
наш сержант-холостяк.

*

Генерал! Я сражался всегда, везде,
как бы ни были шансы малы и шатки.
Я не нуждался в другой звезде,
кроме той, что у вас на шапке.
Но теперь я как в сказке о том гвозде:
вбитом в стену, лишенном шляпки.

Генерал! К сожалению, жизнь — одна.
Чтоб не искать доказательств вящих,
нам придется испить до дна
чашу свою в этих скромных чащах:
жизнь, вероятно, не так длинна,
чтоб откладывать худшее в долгий ящик.

Генерал! Только душам нужны тела.
Души ж, известно, чужды злорадства,
и сюда нас, думаю, завела
не стратегия даже, но жажда братства;
лучше в чужие встревать дела,
коли в своих нам не разобраться.

Генерал! И теперь у меня — мандраж.
Не пойму отчего: от стыда ль, от страха ль?
От нехватки дам? Или просто — блажь?
Не помогает ни врач, ни знахарь.

Оттого, наверно, что повар ваш
не разбирает, где соль, где сахар.

Генерал! Я боюсь, мы зашли в тупик.
Это — месть пространства косой сажени.
Наши пики ржавеют. Наличье пик
это еще не залог мишени.
И не двинется тень наша дальше нас
даже в закатный час.

*

Генерал! Вы знаете, я не трус.
Выньте досье, наведите справки.
К пуле я безразличен. Плюс

я не боюсь ни врага, ни ставки.
Пусть мне прилепят бубновый туз
между лопаток — прошу отставки!

Я не хочу умирать из-за
двух или трех королей, которых
я вообще не видал в глаза
(дело не в шорах, но в пыльных шторах).
Впрочем, и жить за них тоже мне
неохота. Вдвойне.

Генерал! Мне все надоело. Мне
скучен крестовый поход. Мне скучен
вид застывших в моем окне
гор, перелесков, речных излучин.
Плохо, ежели мир вовне
изучен тем, кто внутри измучен.

Генерал! Я не думаю, что, ряды
ваши покинув, я их ослаблю.
В этом не будет большой беды:
я не солист, но я чужд ансамблю.
Вынув мундштук из своей дуды,
жгу свой мундир и ломаю саблю.

*

Птиц не видать, но они слышны.
Снайпер, томясь от духовной жажды,
то ли приказ, то ль письмо жены,
сидя на ветке, читает дважды,
и берет от скуки художник наш
пушку на карандаш.

Генерал! Только Время оценит вас,
ваши Канны, флеши, каре, когорты.
В академиях будут впадать в экстаз;
ваши баталии и натюрморты
будут служить расширенью глаз,
взглядов на мир и вообще аорты.

Генерал! Я вам должен сказать, что вы
вроде крылатого льва при входе
в некий подъезд. Ибо вас, увы,
не существует вообще в природе.
Нет, не то чтобы вы мертвы
или же биты — вас нет в колоде.

Генерал! Пусть меня отдадут под суд!
Я вас хочу ознакомить с делом:
сумма страданий дает абсурд;
пусть же абсурд обладает телом!

И да маячит его сосуд
чем-то черным на чем-то белом.

Генерал, скажу вам еще одно:
Генарал! Я взял вас для рифмы к слову
«умирал» — что было со мною, но
Бог до конца от зерна полову
не отделил, и сейчас ее
употреблять — вранье.

*

На пустыре, где в ночи горят
два фонаря и гниют вагоны,
наполовину с себя наряд
сняв шутовской и сорвав погоны,
я застываю, встречая взгляд
камеры Лейц или глаз Горгоны.

Ночь. Мои мысли полны одной
женщиной, чудной внутри и в профиль.
То, что творится сейчас со мной,
ниже небес, но превыше кровель.
То, что творится со мной сейчас,
не оскорбляет вас.

*

Генерал! Вас нету, и речь моя
обращена, как обычно, ныне
в ту пустоту, чьи края — края
некой обширной, глухой пустыни,
коей на картах, что вы и я
видеть могли, даже нет в помине.

Генерал! Если все-таки вы меня
слышите, значит, пустыня прячет
некий оазис в себе, маня
всадника этим; а всадник, значит,
я; я пришпориваю коня;
конь, генерал, никуда не скачет.

Генерал! Воевавший всегда как лев,
я оставляю пятно на флаге.
Генерал, даже карточный домик — хлев.
Я пишу вам рапорт, припадаю к фляге.
Для переживших великий блеф
жизнь оставляет клочок бумаги.

осень 1968

ПАМЯТИ Т. Б.

1

Пока не увяли цветы и лента
еще не прошла через известь лета,
покуда черна и вольна цыганить,
ибо настолько длинна, что память
моя, как бы внемля ее призыву,
потянет ее, вероятно, в зиму, —

2

прими от меня эту рифмо-лепту,
которая если пройдет сквозь Лету,
то потому что пошла с тобою,
опередившей меня стопою;
и это будет тогда, подруга,
твоя последняя мне услуга.

3

Вот уж не думал увидеть столько
роз; это — долг, процент, неустойка
лета тому, кто бесспорно должен
сам бы собрать их в полях, но дожил
лишь до цветенья, а им оставил
полную волю в трактовке правил.

4

То-то они тут и спят навалом.
Ибо природа честна и в малом,
если дело идет о боли
нашей; однако не в нашей воле
эти мотивы назвать благими;
смерть — это то, что бывает с другими.

5

Смерть — это то, что бывает с другими.
Даже у каждой пускай богини
есть фавориты в разряде смертных,
точно известно, что вовсе нет их
у Персефоны; а рябь извилин
тем доверяет, чей брак стабилен.

6

Все это помнить пока есть сила,
пока все это свежо и сыро,
пока оболочка твоя — вернее,
прощанье с ней для меня больнее,
чем расставанье с твоей душою,
о каковой на себя с большою

7

радостью Бог — о котором после,
будет ли то Магомет, Христос ли,
словом, сама избрала кого ты
раньше, при жизни, — возьмет заботы

о несомненном грядущем благе; —
пока сосуд беззащитной влаги,

8

с того разреши мне на этом свете
сказать о ее, оболочки, смерти,
о том, что случилось в тот вечер в Финском
заливе и стало на зависть сфинксам
загадкой, — ибо челнок твой вовсе
не затонул, но остался возле.

9

Вряд ли ты знала тогда об этом,
лодка не может и быть предметом
бденья души, у которой сразу
масса забот, недоступных глазу,
стоит ей только покинуть тело;
вряд ли ты знала, едва ль хотела

10

мучить нас тайной, чья сложность либо
усугубляет страданье (ибо
повод к разлуке важней разлуки),
либо она облегчает муки
при детективном душевном складе;
даже пускай ты старалась ради

11

этих последних, затем что все же
их большинство, все равно похоже,

что и для них, чьи глаза от плача
ты пожелала сберечь, задача
неразрешима; и блеск на перлах
их многоточия — слезы первых.

12

Чаек не спросишь, и тучи скрылись.
Что бы смогли мы увидеть, силясь
глянуть на все это птичьим взглядом?
Как ты качалась на волнах рядом
с лодкой, не внемля их резким крикам,
лежа в столь малом и в столь великом

13

от челнока расстоянье. Точно
так и бывает во сне; но то, что
ты не цеплялась, — победа яви:
ибо, страдая во сне, мы вправе
разом проснуться и с дрожью в теле
впиться пальцами в край постели.

14

Чаек не спросишь, и нету толка
в гомоне волн. Остаются только
тучи — но их разгоняет ветер.
Ибо у смерти всегда свидетель —
он же и жертва. И к этой новой
роли двойной ты была готовой.

15

Впрочем, и так, при любом разбросе
складов душевных, в самом вопросе
«Чем это было?» разгадки средство.
Самоубийством? Разрывом сердца
в слишком холодной воде залива?
Жизнь позволяет поставить «либо».

16

Эта частица отнюдь не фора
воображенью, но просто форма
тождества двух вариантов, выбор
между которыми — если выпал —
преображает недвижность чистых
двух параллельных в поток волнистых.

17

Эта частица — кошмар пророков —
способ защиты от всех упреков
в том, что я в саване хищно роюсь,
в том, что я «плохо о мертвой» — то есть
самоубийство есть грех и вето;
а я за тобой полагаю это.

18

Ибо, включая и этот случай,
все ж ты была христианкой лучшей,
нежели я. И быть может, с точки
зрения тюркских певцов, чьи строчки

пела ты мне, и вообще Ислама,
в этом нет ни греха, ни срама.

19

Толком не знаю. Но в каждой вере
есть та черта, что по крайней мере
объединяет ее с другими:
то не запреты, а то, какими
люди были внизу, при жизни,
в полной серпов и крестов отчизне.

20

Так что ты можешь идти без страха:
ризы Христа иль чалма Аллаха,
соединенье газели с пловом
или цветущие кущи — словом,
в два варианта Эдема двери
настежь раскрыты, смотря по вере.

21

То есть одетый в любое платье
Бог тебя примет в свое объятье,
и не в любови тут дело Отчей:
в том, что, нарушив довольно общий
смутный завет, ты другой, подробный
твердо хранила: была ты доброй.

22

Это на счетах любых дороже:
здесь на земле, да и в горних тоже.

Время повсюду едино. Годы
жизни повсюду важней, чем воды,
рельсы, петля или вскрытие вены;
все эти вещи почти мгновенны.

23

Так что твой грех, говоря по сути,
равен — относится к той минуте,
когда ты глотнула последний воздух,
в легких с которым лежать на водах
так и осталась, качаясь мерно.
А добродетель твоя, наверно,

24

эту минуту и ветра посвист
перерастет, как уже твой возраст
переросла, ибо день, когда я
данные строки, почти рыдая,
соединяю, уже превысил
разность выбитых в камне чисел.

25

Черная лента цыганит с ветром.
Странно тебя оставлять нам в этом
месте, под грудой цветов, в могиле,
здесь, где люди лежат, как жили:
в вечной своей темноте, в границах;
разница вся в тишине и в птицах.

26

Странно теперь, когда ты в юдоли
лучшей, чем наша, нам плакать. То ли
вера слаба, то ли нервы слабы:
жалость уместней Господней Славы
в мире, где души живут лишь в теле.
Плачу, как будто на самом деле

27

что-то остаться могло живое.
Ибо когда расстаются двое,
то, перед тем как открыть ворота,
каждый берет у другого что-то
в память о том, как их век был прожит:
тело — незримость; душа, быть может,

28

зренье и слух. Оттого и плачу,
что неглубоко надежду прячу,
будто ты слышишь меня и видишь,
но со словами ко мне не выйдешь:
ибо душа, что набрала много,
речь не взяла, чтоб не гневить Бога.

29

Плачу. Вернее, пишу, что слезы
льются, что губы дрожат, что розы
вянут, что запах лекарств и дерна
резок. Писать о вещах, бесспорно

тебе до смерти известных, значит
плакать за ту, кто сама не плачет.

30

Разве ты знала о смерти больше,
нежели мы? Лишь о боли. Боль же
учит не смерти, но жизни. Только
то ты и знала, что сам я. Столько
было о смерти тебе известно,
сколько о браке узнать невеста

31

может — не о любви: о браке.
Не о накале страстей, о шлаке
этих страстей, о холодном, колком
шлаке — короче, об этом долгом
времени жизни, о зимах, летах.
Так что сейчас, в этих черных лентах,

32

ты как невеста. Тебе, не знавшей
брака при жизни, из жизни нашей
прочь уходящей, покрытой дерном,
смерть — это брак, это свадьба в черном,
это те узы, что год от года
только прочнее, раз нет развода.

33

Слышишь, опять Персефоны голос?
Тонкий в руках ее вьется волос

жизни твоей, рассеченной Паркой.
То Персефона поет над прялкой
песню о верности вечной мужу;
только напев и плывет наружу.

34

Будем помнить тебя. Не будем
помнить тебя. Потому что людям
свойственна тяга к объектам зримым
или к предметам настолько мнимым,
что не под силу сердечным нетям.
И, не являясь ни тем, ни этим,

35

ты остаешься мазком, наброском,
именем, чуждым своим же тезкам
и не бросающим смертной тени
даже на них. Что поделать с теми,
тел у кого, чем имен, намного
больше? Но эти пока два слога —

36

ТАНЯ — еще означают тело
только твое, не пуская в дело
анестезию рассудка, ими
губы свои раздвигая, имя
я подвергаю твое огласке
в виде последней для тела ласки.

37

Имя твое расстается с горлом
сдавленным. Пользуясь впредь глаголом,
созданным смертью, чтоб мы пропажи
не замечали, кто знает, даже
сам я считать не начну едва ли,
будто тебя «умерла» и звали.

38

Если сумею живым, здоровым
столько же с этим прожить я словом
лет, сколько ты прожила на свете,
помни: в Две Тысячи Первом лете,
с риском быть вписанным в святотатцы,
стану просить, чтоб расширить святцы.

39

Так, не сумевши ступать по водам,
с каждым начнешь становиться годом,
туфельки следом на волнах тая,
все беспредметней; и — сам, когда я,
не дотянувши до этой даты,
посуху двину туда, куда ты

40

первой ушла, в ту страну, где все мы
души всего лишь, бесплотны, немы,
то есть где все — мудрецы, придурки, —
все на одно мы лицо, как тюрки, —

вряд ли сыщу тебя в тех покоях,
встреча с тобой оправданье коих.

41

Может, и к лучшему. Что сказать бы
смог бы тебе я? Про наши свадьбы,
роды, разводы, поход сквозь трубы
медные, пламень, чужие губы;
то есть с каким беспримерным рвеньем
трудимся мы над твоим забвеньем.

42

Стоит ли? Вряд ли. Не стоит строчки.
Как две прямых расстаются в точке,
пересекаясь, простимся. Вряд ли
свидимся вновь, будь то Рай ли, Ад ли.
Два этих жизни посмертной вида
лишь продолженье идей Эвклида.

43

Спи же. Ты лучше была, а это
в случае смерти всегда примета,
знак невозможности, как при жизни,
с худшим свиданья. Затем что вниз не
спустишься. Впрочем, долой ходули —
до несвиданья в Раю, в Аду ли.

1968 (?)

ГОРБУНОВ И ГОРЧАКОВ

I. Горбунов и Горчаков

«Ну, что тебе приснилось, Горбунов?»
«Да, собственно, лисички». «Снова?» «Снова».
«Ха-ха, ты насмешил меня, нет слов».
«А я не вижу ничего смешного.
Врач говорит: основа всех основ —
нормальный сон». «Да ничего дурного
я не хотел... хоть сон того, не нов».
«А что попишешь, если нет иного?»
«Мы, ленинградцы, видим столько снов,
а ты никак из этого, грибного,

не вырвешься». «Скажи мне, Горчаков,
а что вам, ленинградцам, часто снится?»
«Да как когда... Концерты, лес смычков.
Проспекты, переулки. Просто лица.
(Сны состоят как будто из клочков.)
Нева, мосты. А иногда — страница,
и я ее читаю без очков!
(Их отбирает перед сном сестрица.)»
«Да, этот сон сильней моих зрачков!»
«Ну что ты? Часто снится и больница».

«Не нужно жизни. Знай себе смотри.
Вот это сон! И вправду день не нужен,
Такому сну мешает свет зари.
И как, должно быть, злишься ты, разбужен...

Проклятие, Мицкевич! Не ори!..
Держу пари, что я проспал бы ужин».
«Порой мне также снятся снегири.
Порой ребенок прыгает по лужам.
И это — я...» «Ну что ж ты, говори.
Чего ты смолк?» «Я, кажется, простужен.

Тебе зачем все это?» «Просто так».
«Ну вот, я говорю, мне снится детство.
Мы с пацанами лезем на чердак.
И снится старость. Никуда не деться
от старости... Какой-то кавардак:
старик, мальчишка...» «Грустное соседство».
«Ну, Горбунов, какой же ты простак!
Ведь эти сновиденья просто средство
ночь провести поинтересней». «Как?!»
«Чтоб ночью дня порастрясти наследство».

«Ты говоришь „наследство“? Вот те на!
Позволь, я обращусь к тебе с вопросом:
а как же старость? Старость не видна.
Когда ж это ты был седоволосым?»
«Зачем хрипит Бабанов у окна?
Зачем Мицкевич вертится под носом?
На что же нам фантазия дана?
И вот воображеньем, как насосом,
я втягиваю старость в царство сна».

«Но, Горчаков, тогда прости, не ты,
не ты себе приснишься». «Истуканов
тебе подобных просто ждут Кресты,
и там не выпускают из стаканов!
А кто ж мне снится? Что молчишь? В кусты?»
«Гор-кевич. В лучшем случае, Гор-банов».
«Ты спятил, Горбунов!» «Твои черты,
их — седина; таких самообманов

полно и наяву до тошноты».
«Ходить тебе в пижаме без карманов».

«Да я и так в пижаме без кальсон».
«Порой мне снится печка, головешки...»
«Да, Горчаков, вот это сон так сон!
Проспекты, разговоры. Просто вещи.
Рояль, поющей скрипке в унисон.
И женщины. И, может, что похлеще».
«Вчера мне снился стол на шесть персон».
«А сны твои — они бывают вещи?
Иль попросту все мчится колесом?»
«Да как сказать; те — вещи, те — зловещи».

«Фрейд говорит, что каждый — пленник снов»
«Мне говорили: каждый — раб привычки.
Ты ничего не спутал, Горбунов?»
«Да нет, я даже помню вид странички».
«А Фрейд не врет?» «Ну, мало ли врунов...
Но вот, допустим, хочется клубнички...»
«То самое, в штанах?» «И без штанов.
А снится, что клюют тебя синички.
Сны откровенней всех говорунов».
«А как же, Горбунов, твои лисички?»

«Мои лисички — те же острова.
(Да и растут лисички островками.)
Проспекты те же, улочки, слова.
Мы говорим, как правило, рывками.
Подобно тишине, меж них — трава.
Но можно прикоснуться к ним руками!
Отсюда их обширные права,
и кажутся они мне поплавками,
которые несет в себе Нева
того, что у меня под башмаками».

«Так, значит, ты один из рыбаков,
которые способны бесконечно
взирать на положенье поплавков,
не правда ли?» «Пока что безупречно».
«А в сумерках конструкции крючков
прикидывать за ужином беспечно?»
«И прятать по карманам червячков!»
«Боюсь, что ты застрянешь здесь навечно»
«Ты хочешь огорчить меня?» «Конечно.
На то я, как известно, Горчаков».

II. Горбунов и Горчаков

«Ты ужинал?» «Да, миска киселя
и овощи». «Ну, все повеселее.
А что снаружи?» «Звездные поля».
«Смотрю, в тебе замашки Галилея».
«Вторая половина февраля
отмечена уходом Водолея,
и Рыбы водворяются, суля,
что скоро будет в реках потеплее».
«А что земля?» «Что, собственно, земля?»
«Ну, что внизу?» «Больничная аллея».

«Да, знаешь, ты действительно готов.
Ты метишь, как я чувствую, в Ньютоны.
На буйном тоже некий Хомутов
— кругом галдеж, блевотина и стоны —
твердит: я — Гамильтон, и я здоров;
а сам храпит, как наши харитоны».
«Шло при Петре строительство портов,
и наезжали разные тевтоны.
Фамилии нам стоили трудов.
Возможно, Хомутовы — Гамильтоны».

«Натоплено, а чувствую озноб».
«Напрасно ты к окошку прислонился».
«Из-за твоих сверкающих зазноб».
«Ну что же, убедился?» «Усомнился.
Я вижу лишь аллею и сугроб».
«Вон Водолей с кувшином наклонился».
«Нам телескоп иметь здесь хорошо б».
«Да, хорошо б». «И ты б угомонился».
«Что?! Телескоп?! На кой мне телескоп!»
«Ну, Горбунов, чего ты взбеленился?»

«С ногами на постель мою ты влез.
Я думаю, что мог бы потрудиться
снять шлепанцы». «Но холодно мне без,
без шлепанцев. Не следует сердиться.
Я зябну потому, что интерес
к сырым лисичкам в памяти гнездится».
«Не снился Фрейду этакий прогресс!
Прогресса же не следует стыдиться:
приснится активисту мокрый лес,
и пассивист способен простудиться».

«Лисички не безвредны, и, по мне,
они враги душевному здоровью.
Ты ценишь их?» «С любовью наравне».
«А что ты понимаешь под любовью?»
«Разлуку с одиночеством». «Вполне?»
«Возможность наклониться к изголовью
и к жизни прикоснуться в тишине
дыханием, руками или бровью...»
«На что ты там уставился в окне?»
«Само сопротивленье суесловью».

«Не дашь ли ты мне яблока?» «Лови».
«Ну, что твои лисички-невелички?»

«Я думаю обычно о любви
всегда, когда смотрю я на лисички.
Не знаю где — в уме или в крови, —
но чувствую подобье переклички».
«Привычка и нормальное, увы,
стремление рассудка к обезличке».
«То область рук. А в сфере головы —
отсутствие какой-либо привычки».

«И, стало быть, во сне, когда темно,
ты грезишь о лисичках?» «Постоянно».
«Вернее, о любви?» «Ну, все равно.
По-твоему, наверно, это странно?»
«Не странно, а по-моему, грешно.
Грешно и, как мне думается, срамно!
Чему ты улыбаешься?» «Смешно».
«Не дашь ли ты мне яблока?» «Я дам, но
понять тебе лисичек не дано».
«Лисички — это, знаешь, полигамно.

Вот! Я тебя разделал под орех!
Есть горечь в горчаковской укоризне!»
«Зачем ты говоришь, что это грех?
Грех — то, что наказуемо при жизни.
А как накажешь, если стрелы всех
страданий жизни собрались, как в призме,
в моей груди? Мне снится без помех
грядущее». «Мы, стало быть, на тризне
присутствуем?» «И, стало быть, мой смех
сегодня говорит об оптимизме».

«А Страшный Суд?» «А он — движенье вспять,
в воспоминанья. Как в кинокартине.
Да что там Апокалипсис! Лишь пять,
пять месяцев в какой-нибудь пустыне.

А я полжизни протрубил и спать
с лисичками мне хочется отныне.
Я помню то, куда мне отступать
от Огненного Ангела Твердыни...»
«Боль сокрушит гордыню». «Ни на пядь;
боль напитала дерево гордыни».

«Ты, значит, не боишься темноты?»
«В ней есть ориентиры». «Поклянись мне»
«И я с ориентирами на ты.
Полно ориентиров, только свистни».
«Находчивость — источник суеты».
«Я не уверен в этом афоризме.
Душа не ощущает тесноты».
«Ты думаешь? А в мертвом организме?»
«Я думаю, душа за время жизни
приобретает смертные черты».

III. Горбунов в ночи

«Больница. Ночь. Враждебная среда...
Все это не трагедия... К тому же
и приговоры Страшного Суда
тем легче для души моей, чем хуже
ей было во плоти моей... Всегда,
когда мне скверно, думаю, что ту же
боль вынесу вторично без труда.
Так мальчика прослеживают в муже...
Лисички занесли меня сюда.
А то, что с ними связано, снаружи.

Они теперь мне снятся. А жена
не снится мне. И правильно. Где тонко,
там рвется. Эта мысль не лишена...
Я сделал ей намеренно ребенка.

Я думал, что останется она.
Хоть это — психология подонка.
Но видимо, добрался я до дна.
Не знаю, как душа, а перепонка
цела. Я слышу шелест полотна.
Поет в зубах Бабанова гребенка...

Я голос чей-то слышу в тишине.
Но в нем с галлюцинациями слуха
нет общего: давление на дне —
давление безвредное для уха.
И голос тот противоречит мне.
Уверенно, настойчиво и глухо.
Кому принадлежит он? Не жене.
Не ангелам. Поскольку царство духа
безмолвствует с женою наравне.
Жаль, нет со мною старого треуха!

Больничная аллея. Ночь. Сугроб.
Гудит ольха, со звездами сражаясь.
Из-за угла в еврейский телескоп
глядит медбрат, в жида преображаясь.
Сужается постель моя, как гроб.
Хрусталик с ней сражается, сужаясь.
И кровь шумит, как клюквенный сироп.
И щиколотки стынут, обнажаясь.
И делится мой разум, как микроб,
в молчанье безгранично размножаясь!

Нас было двое. То есть к алтарю...
Она ушла. Задетый за живое,
теперь я вечно с кем-то говорю.
Да, было двое. И осталось двое!
Февраль идет на смену январю.
Вот так, напоминая о конвое,

алтарь, благодаря календарю,
препятствует молчанью, каковое
я тем уничтожаю, что творю
в себе второе поле силовое.

Она ушла. Я одержим собой.
Собой? А не позвать ли Горчакова?
Эй, Горчаков!.. Да нет, уже отбой.
Да так ли это, впрочем, бестолково,
когда одни уста наперебой
поют двоих в отсутствие алькова?
Я сам слежу за собственной губой.
Их пополам притягивает слово.
Я — круг в сеченьи. Стало быть, любой
из нас двоих — магнитная подкова.

Ночь. Губы на два голоса поют.
Ты думаешь, не много ли мне чести?
Но в этом есть особенный уют:
пускай противоречие, но вместе.
Они почти семейство создают
в молчанье. А тем более — в присесте.
Возлюбленному верхняя приют.
А нижняя относится к невесте.
Но то, что на два делится, то тут
разделится, бесспорно, и на двести.

А все, что увеличилось вдвойне,
приемлемо и больше не ничтожно.
Проблему одиночества вполне
решить за счет раздвоенности можно.
Отчаянье раскраивает мне,
как доску, душу надвое, как нож, но
не я с ним остаюсь наедине.
А если двоедушие безбожно,

то не дрова нуждаются в огне,
а греет то, что противоположно.

Ты, Боже, если властен сразу двум,
двум голосам внимать, притом бегущим
из уст одних, и видеть в них не шум,
а вид борьбы минувшего с грядущим,
восхить к Себе мой кашляющий ум,
микробы расселив его по кущам,
и сумму дней и судорожных дум
Ты раздели им жестом всемогущим.
А мне оставь, как разность этих сумм,
победу над молчаньем и удушьем.

А ежели мне впрямь необходим
здесь слушатель, то, Господи, не мешкай:
пошли мне небожителя. Над ним
ни болью не возвышусь, ни усмешкой,
поскольку он для них неуязвим.
По мне, коль оборачиваться решкой,
то пусть не Горчаков, а херувим
возносится над грязною ночлежкой
и кружит над рыданьями и слежкой
прямым благословением Твоим».

IV. Горчаков и врачи

«Ну, Горчаков, давайте ваш доклад».
«О Горбунове?» «Да, о Горбунове».
«Он выражает беспартийный взгляд
на вещи, на явления, — в основе
своей диалектический; но ряд —
но ряд его высказываний внове
для нас». «Они, бесспорно, говорят
о редкостной насыщенности крови

азотом, разложившим аппарат
самоконтроля». «Сросшиеся брови,

асимметричность подбородка, жир
на подбородке. Нос его расцвечен
сосудами, раздавшимися вширь...»
«Я думаю, разрушенная печень».
«Компрессами и путаницей жил
асимметричный лоб его увенчан.
Лисички — его слабость и кумир.
Он так непривлекателен для женщин.
„Преувеличен внутренний наш мир,
а внешний соответственно уменьшен“, —

вот характерный для него язык.
В таких вот выражениях примерных
свой истинный показывает лик
сторонник непартийных, эфемерных
воззрений...» «В этом чувствуется сдвиг
налево от открытий достоверных
марксизма». «Недостаточно улик».
«А как насчет явлений атмосферных?»
«А он отвык от женщины?» «Отвык.
В нем нет телодвижений характерных

для этого... ну как его... ах ты!..»
«Спокойно, Горчаков!» «...для женолюба».
«А как он там... ну, в смысле наготы?..
Там органы и прочее?» «Сугубо,
сугубо от нужды и до нужды.
Простите, что высказываюсь грубо».
«Ну что вы! Не хотите ли воды?»
«Воды?» «А вы хотели коньяку бы?»
«Не признаю я этой ерунды».
«Зачем же вы облизывали губы?»

«Не знаю... Что-то связано с водой».
«Что именно?» «Не помню, извините».
«Наверное, стакан перед едой?»
«Да нет же, вы мне спутали все нити...
Постойте, вижу... человек... худой...
вокруг — пустыня... Азия... взгляните:
ползут пески татарскою ордой,
пылает солнце... как его?.. в зените.
Он окружен враждебною средой...
И вдруг — колодец...» «Дальше! Не тяните!»

«А дальше вновь все пусто и мертво.
Колодец... это самое... сокрылся».
«Эй, Горчаков! Что с Вами?» «Я... того.
Я, знаете, того... заговорился.
Во всем великолепье своего
идеализма нынче он раскрылся».
«Кто? Горбунов?» «Ну да, я про него.
Простите мне, товарищи, что сбился».
«Нет-нет, вы продолжайте. Ничего».
«Я слишком в Горбунова углубился...

Он — беспартийный, вот его беда!
И если день особенно морозен,
он сильно отклоняется туда...
ну, влево, к отопленью...» «Грандиозен!»
«А он религиозен?» «О, да-да!
Он так регилио... религиозен!
Я даже опасаюсь иногда:
того гляди, что бухнется он оземь
и станет Бога требовать сюда».
«Он так от беспартийности нервозен».

«Он влево уклоняется». «Ха-ха!»
«Чему вы усмехаетесь, коллега?»

«Тому, что это, в общем, чепуха:
от Горчакова батареи слева,
от Горбунова, стало быть...» «Ага!
Как в шахматах? Король и королева?
Напротив!» «Справедливо». «От греха
запишем, так сказать, для подогрева
два мнения». «Идея неплоха».
«Какая ж это песня без припева?

Ну вот и заключение... шнурков!
подшить!.. Эй, Горчаков, вы не могли бы
автограф свой?» «Я нынче без очков».
«Мои не подойдут?» «Да подошли бы.
Так: „влево уклоняется“... каков!
...„и вправо“... справедливо! Справедливы
два мнения. Мы этих барчуков...
Одно из двух: мы выкурим их либо...»
«Спасибо вам, товарищ Горчаков.
На Пасху мы вас выпустим». «Спасибо.

Да-да. Благодарю. Благодарить...
Не сделать ли поклона поясного?..
Где Горбунов?! Глаза ему раскрыть!..
О ужас, я же истины — ни слова...
Да, собственно, откуда эта прыть?
Плевать на параноика лесного!
Уток теряет собственную нить,
когда под ним беснуется основа.
Как странно Горчакову говорить
безумными словами Горбунова!»

V. Песня в третьем лице

«И он ему сказал». «И он ему
сказал». «И он сказал». «И он ответил».

«И он сказал». «И он». «И он во тьму
воззрился и сказал». «Слова на ветер».
«И он ему сказал». «Но, так сказать,
сказать „сказал“ сказать совсем не то, что
он сам сказал». «И он „к чему влезать
в подробности“ сказал; все ясно. Точка».
«Один сказал другой сказал струит».
«Сказал греха струит сказал к веригам».
«И молча на столе сказал стоит».
«И, в общем, отдает татарским игом».
«И он ему сказал». «А он связал
и свой сказал, и тот, чей отзвук замер».
«И он сказал». «Но он тогда сказал».
«И он ему сказал; и время занял».

«И он сказал». «Вот так булыжник вдруг
швыряют в пруд. Круги — один, четыре...»
«И он сказал». «И это — тот же круг,
но радиус его, бесспорно, шире».
«Сказал — кольцо». «Сказал — еще кольцо».
«И вот его сказал уткнулся в берег».
«И собственный сказал толкнул в лицо,
вернувшись вспять». «И больше нет Америк».
«Сказал». «Сказал». «Сказал». «Сказал». «Сказал».
«Суть поезда». «Все дальше, дальше рейсы».
«И вот уже сказал почти вокзал».
«Никто из них не хочет лечь на рельсы».
«И он сказал». «А он сказал в ответ».
«Сказал исчез». «Сказал пришел к перрону».
«И он сказал». «Но раз сказал — предмет,
то так же относиться должно к он'у».

«И он ему». «И он». «И он ему».
«И я готов считать, что вечер начат».

«И он ему». «И это все к тому,
что оба суть одно взаимно значат».
«Он, собственно, вопрос». «Ему — ответ»
«Потом наоборот». «И нет различья».
«Конечно, между ними есть просвет».
«Но лишь как средство избежать двуличья
«Он кем (ему) приходится ему?»
«И в неживой возможны ли природе
сношенья, неподсудные уму?»
«Пусть не родня обычная, но вроде?»
«Чего не разберет судебный зал!
Сидит судья; очки его без стекол».
«Он кто ему?» «Да он ему — сказал».
«И это грандиознее, чем свекор».

«Огромный дом. Слепые этажи.
Два лика, побледневшие от вони».
«Они не здесь». «А где они, скажи?»
«Где? В он-ему-сказал'е или в он'е».
«Огромный дом. Фигуры у окна.
И гомон, как под сводами вокзала.
Когда здесь наступает тишина?»
«Лишь в промежутках он-ему-сказал'а».
«*Сказала*», знаешь, требует «*она*».
«Но это же сказал во время он'а».
«А все-таки приятна тишина».
«Страшнее, чем анафема с амвона».
«Так, значит, тут страшатся тишины?»
«Да нет; как обстоятельствами места
и времени, все объединены
сказал'ом, наподобие инцеста».

«И это — образ действия?» «О да.
Они полны сношеньями своими».

«Когда они умолкнут?» «Никогда».
«Наверное, как собственное имя».
«Да, собственное имя — концентрат.
Оно не допускает переносов,
замен, преображений и утрат».
«И это, в общем, двигатель вопросов».
«Вот именно! И косвенная речь
в действительности — самая прямая».
«И этим невозможно пренебречь
без личного ущерба». «И, внимая
тому, что Он Сказал произнесет,
как дети у церковного притвора,
мы как бы приобщаемся высот,
достигнутых еще до разговора».

«Что вам приснилось, Он Ему Сказал?»
«Кругом — врачи». «Рассказывать подробно».
«Мне ночью снился океанский вал.
Мне снилось море». «Неправдоподобно!»
«Должно быть, он забыл уже своих
лисичек». «Невозможно!» «Вероятно».
«Да нет, он отвечает за двоих».
«И это уж, конечно, необъятно».
«Я видел сонмы сумеречных вод.
Отчетливо и ясно. Но, при этом,
я видел столь же ясно небосвод...»
«И это вроде выстрела дуплетом».
«...И гребни, словно гривы жеребцов,
расставшихся с утопленной повозкой».
«А не было там, знаете, гребцов,
утопленников?» «Я не Айвазовский.
Я видел гребни пенившихся круч.
И берег — как огромная подкова...
И Он Сказал носился между туч
с улыбкой Горбунова, Горчакова».

VI. Горбунов и Горчаков

«Ну, что тебе приснилось? Говори».
«Да я ж тебе сказал о разговоре
с комиссией». «Да брось ты, не хитри.
Я сам его подслушал в коридоре».
«Ну вот, я говорю...» «Держу пари,
ты станешь утверждать, что снится море».
«Да, море, разумеется». «Не ври,
не верю». «Не настаиваю. Горе
невелико». «Ты только посмотри,
как залупился! Истинно на воре

и шапка загорается». «Ну, брось».
«Чего ж это я брошу, интересно?»
«Да я же, Горчаков, тебя насквозь...»
«Нашелся рентгенолог!» «Неуместно
подшучиваешь. Как бы не пришлось
раскаиваться». «Выдумаешь!» «Честно.
Как только мы оказывались врозь,
комиссии вдруг делалось известно,
о чем мы тут... Сексотничал, небось?
Чего же ты зарделся, как невеста?»

«Ты сердишься?» «Да нет, я не сержусь».
«Не мучь меня!» «Что, я — тебя? Занятно!»
«Ты сердишься». «Ну, хочешь побожусь?»
«Тебе же это будет неприятно».
«Да нет, я не особенно стыжусь».
«Вот это уже искренне». «Обратно
за старое? Неужто я кажусь
тебе достойным слежки? Непонятно».
«А что ж не побожишься?» «Я боюсь,
что ты мне не поверишь». «Вероятно».

«Я что-то в этом смысла не пойму».
«Я смешиваю зерна и полову».
«Вот видишь, ты не веришь ничему:
ни Знамению Крестному, ни слову».
«Война в Крыму. Все, видимо, в дыму.
Цитирую по дедушке Крылову...
Отсюда ты направишься в тюрьму».
«Ты шел бы, подобру да поздорову...»
«Чего ты там таращишься во тьму?»
«Уланову я вижу и Орлову».

«Я, знаешь ли, смотаюсь в коридор».
«Зачем?» «Да так, покалывает темя».
«Зачем ты вечно спрашиваешь?» «Вздор!»
«Что, истины выискиваешь семя?»
«Ты тоже ведь таращишься во двор».
«Сексотишь, вероятно, сучье племя».
«Я просто расширяю кругозор».
«Не веря?» «Недоверчивость не бремя.
Ты знаешь, и донос, и разговор —
все это как-то скрашивает время».

«А время как-то скрашивает дни».
«Вот, кажется, и темя отпустило...
Ну, что тебе приснилось, не темни!»
«А, все это тоскливо и постыло...
Ты лучше посмотрел бы на огни».
«Ну, тени от дощатого настила...»
«Орлова! и Уланова в тени...»
«Ты знаешь, как бы кофе не остыло».
«Война была, ты знаешь, и они
являлись как бы символами тыла».

«Вторая половина февраля.
Смотри-ка, что показывают стрелки».

«Я думаю, лишь радиус нуля».
«А цифры?» «Как бордюрчик на тарелке...
Сервиз я видел, сделанный а-ля
мейсенские...» «Мне нравятся подделки».
«Там надпись: „мастерская короля“
и солнце — вроде газовой горелки».
«Сейчас я взял бы вермуту». «А я
сейчас не отказался бы от грелки...

Смотри, какие тени от куста!»
«Прости, но я материю все ту же...
те часики...» «Обратно неспроста?»
«Ты судишь обо мне гораздо хуже,
чем я того...» «Виной твои уста».
«Неужто ж ноль?» «Ага». «Но почему же?»
«Да просто так; снаружи — пустота».
«Зато внутри теплее, чем снаружи».
«Ну, эти утепленные места
являются лишь следствиями стужи».

«А как же быть со штабелями дров?»
«Наверное, связующие звенья...
О Господи, как дует из углов!
И холодно, и голоден как зверь я».
«Болезни — это больше докторов».
«Подворье грандиознее преддверья».
«Но все-таки, ты знаешь, это кров».
«Давай-ка, Горчаков, без лицемерья;
и знай — реальность высказанных слов
огромней, чем реальность недоверья».

«Да, стужа грандиознее тепла».
«А время грандиознее, чем стрелка».
«А древо грандиознее дупла».
«Дупло же грандиознее, чем белка».

«А белка грациознее орла».
«А рыбка... это самое... где мелко».
«Мне хочется раздеться догола!»
«Где радиус, там вилка и тарелка!»
«А дерево, сгоревшее дотла...»
«Едва ли грандиознее, чем грелка».

VII. Горбунов и Горчаков

«Ты ужинал?» «Да, прежняя трава.
Всё овощи...» «Не стоит огорчаться.
Нам птичьи тут отпущены права».
«Но мясо не должно бы запрещаться».
«Взгляни-ка лучше: новые дрова...»
«Имею же я право возмущаться!»
«Ну нет, администрация права,
права в пределах радиуса». «Вжаться
в сей радиус не жаждет голова,
а брюхо...» «Не желаю возвращаться

к изложенному выше; и к тому ж,
мне кажется, пошаливает почка».
«Но сам-то я — вне радиуса». «Чушь!
А кто же предо мной?» «Лишь оболочка›
«Ну, о неограниченности душ
слыхал я что-то в молодости. Точка».
«Да нет, помимо этого, я — муж.
Снаружи и жена моя, и дочка».
«Тебе необходим холодный душ!
Где именно?» «На станции Опочка».

«Наверное, приснилось». «Ни фига.
Скорее, это я тебе приснился».
«Опочка где-то в области». «Ага».
«Далёко ты того... распространился».

«Мне следует удариться в бега».
«Не стоит. Ты весьма укоренился».
«Ты прав. Но, говорят, одна нога...
другая там... Вообще я обленился!
Не сделать семимильного шага!»
«Ну-ну, угомонись». «Угомонился».

«Ты сколько зарабатывал?» «Семьсот;
по-старому». «И где же?» «В учрежденье»
«Боишься, что спросил и донесет?»
«Ну кто себе откажет в наслажденье?»
«Тебя мое молчанье не спасет».
«Да, знаешь ли, по зрелом рассужденье...»
«Приятнее считать, что я сексот,
чем размышлять о местонахожденье».
«Увы, до столь пронзительных высот
мешает мне взорлить происхожденье».

«Так что ж ты наседаешь на меню?»
«Еще не превратился в ветерана
и трижды то же самое на дню...»
«Ты меряешь в масштабах ресторана».
«Я вписываю в радиус родню».
«Тебе, должно быть, резали барана
для ужина». «Я, собственно, клоню
к тому, что мне отказываться рано
от прошлого». «Кончай пороть херню».
«А что тебе не нравится?» «Пространно».

«Я радиус расширил до родни».
«Тем хуже для тебя оно, тем хуже».
«Я только ножка циркуля. Они —
опора неподвижная снаружи».
«И это как-то скрашивает дни,
чем шире этот радиус?» «Чем у́же.

На свете так положено: одни
стоят, другие двигаются вчуже».
«Бывают неподвижные огни,
расширенные радиусом лужи».

«Я двигаюсь!» «Не ведаю, где старт,
но финиш — ленинградские сугробы».
«Я жив, пока я двигаюсь. Декарт
мне мог бы позавидовать». «Еще бы!
Мне нравится твой искренний азарт».
«А мне твои душевные трущобы
наскучили». «А что твой миллиард —
ну, звездные ковши и небоскребы?»
«Восходит Овн, курирующий март».
«Иметь здесь телескоп нам хорошо бы».

«Вот именно. Нам стали бы видны
опоры наши дальние». «Начатки
движения». «Мы чувствовать должны
устойчивость Опочки и Камчатки».
«Я в марте родился. Мне суждены
шатания. Мне сняли отпечатки...
Как жаль, что мы дрожать принуждены:
опоры наши дальние столь шатки...»
«Которые под Овном рождены,
должны ходить в каракулевой шапке».

«Ты думаешь, от холода дрожу?»
«А сверься с посиневшими пальцами».
«А ты?» «Я Близнецам принадлежу.
Я в мае родился, под Близнецами».
«Тепло тебе?» «Поскольку я сужу...»
«Короче! Не мудри с немудрецами!»
«В сравнении с тобой я нахожу,
что вовсе мне не холодно». «С концами!»

«В чем дело, Горчаков?» «Не выношу!»
«Да нет, все это правда — с месяцами».

«Увы, на телескоп не наскрести,
и мы своих опор не наблюдаем».
«Пусть радиус у жизни не в чести,
сам циркуль, Горчаков, неувядаем».
«Еще умру тут, Господи, прости,
считая, что тот свет необитаем».
«Нет, не умрешь; напрасно не грусти».
«Ты думаешь?» «Обсудим». «Обсуждаем».
«Тот груз, которым нынче обладаем,
в другую жизнь нельзя перенести».

VIII. Горчаков в ночи

«Твой довод мне бессмертие сулит!
Мой разум, как извилины подстилки,
сияньем твоих доводов залит —
не к чести моей собственной коптилки...
Проклятие, что делает колит!
И мысли — словно демоны в бутылке.
Твой светоч мой фитиль не веселит!
О Горбунов! от слов твоих в затылке,
воспламеняясь, кровь моя бурлит —
от этой искры, брошенной в опилки!

Ушел... Мне остается монолог.
Плюс радиус ночного циферблата...
Оставил только яблоки в залог
и смылся, наподобие Пилата!
Попробуем забиться в уголок,
исследуем окраины халата.
Водрузим на затылок котелок
с присохшими остатками салата...

Какие звезды?! Пол и потолок.
В окошке — отражается палата.

Ночь. Окна — бесконечности оплот.
Палата в них двоится и клубится.
За окнами — решетки переплет:
наружу отраженью не пробиться.
В пространстве этом — задом наперед —
постелью мудрено не ошибиться.
Но сон меня сегодня не берет.
Уснуть бы... и вообще — самоубиться!
Рискуя — раз тут всё наоборот —
тем самым в свою душу углубиться!

Уснуть бы... Санитары на посту.
Приносит ли им пользу отраженье?
Оно лишь умножает тесноту,
поскольку бесконечность — умноженье.
Я сам уже в глазах своих расту,
и стекла, подхлестнув воображенье,
сжимают между койками версту...
Я чувствую во внутренностях жженье,
взирая на далекую звезду.
Основа притяженья — торможенье!

Нормальный сон — основа всех основ!
Верней, выздоровления основа.
Эй, Горбунов!.. На кой мне Горбунов?!
Уменьшим свою речь на Горбунова!
Сны откровенней всех говорунов
и грандиозней яблока глазного.
Фрейд говорит, что каждый — пленник снов.
Как странно в это вдумываться снова...
Могилы исправляют горбунов!..
Конечно, за отсутствием иного

лекарства... А сия галиматья —
лишь следствие молчания соседних
кроватей. Ибо чувствую, что я
тогда лишь есмь, когда есть собеседник!
В словах я приобщаюсь бытия!
Им нужен продолжатель и наследник!
Ты, Горбунов, мой высший судия!
А сам я — только собственный посредник
меж спящим и лишенным забытья,
смотритель своих выбитых передних...

Ночь. Форточка... О если бы медбрат
открыл ее!.. Не может быть и речи.
На этот — ныне запертый — квадрат
приходятся лицо мое и плечи.
Ведь это означало бы разврат,
утечку отражения. А течи
тем плохи, что любой дегенерат
решился бы, поскольку недалече,
удрать хоть головою в Ленинград...
О Горбунов! я чувствую при встрече

с тобою, как нормальный идиот,
себя всего лишь радиусом стрелки!
Никто меня, я думаю, не ждет
ни здесь, ни за пределами тарелки,
заполненной цифирью. Анекдот!
Увы, тебе масштабы эти мелки!
Грядет твое мучение. Ты тот,
которому масштаб его по мерке.
Весь ужас, что с тобой произойдет,
ступеньки разновидность или дверки

туда, где заждались тебя. Грешу
лишь тем, что не смогу тебя дозваться.

Ты, Горбунов! Покуда я дышу,
во власть твою я должен отдаваться!
К тебе свои молитвы возношу!
Мне некуда от слов твоих деваться!
Приди ко мне! Я слов твоих прошу.
Им нужно надо мною раздаваться!
Затем-то я на них и доношу,
что с ними не способен расставаться,

когда ты удаляешься... Прости!
Не то чтобы страшился я разлуки...
Зажав освобождение в горсти,
к тебе свои протягиваю руки.
Как все, что предстоит перенести —
источник равнодушия и скуки, —
не помни, Горбунов, меня, не мсти!
Как эхо, продолжающее звуки,
стремясь их от забвения спасти,
люблю и предаю тебя на муки».

IX. Горбунов и врачи

«Ну, Горбунов, рассказывайте нам!»
«О чем?» «О ваших снах». «Об оболочке»
«И называйте всех по именам».
«О циркуле». «Рассказывай о дочке».
«Дочь не имеет отношенья к снам».
«Давай-ка, Горбунов, без проволочки».
«Мне снилось море». «Ну его к хренам».
«Да, лучше обойдемся без примочки».
«Без ваших по морям да по волнам».
«Начните, если хочется, с Опочки».

«Зачем вам это?» «Нужно». «И сполна».
«Для вашей пользы». «Реплика во вкусе

вопросов Красной Шапочки. Она,
вы помните, спросила у бабуси
насчет ушей, чья странная длина...
„не бойся“ — та в ответ, — „ахти, боюся“,
„чтоб лучше слышать внучку!“» «Вот те на!
Не думали о вас мы как о трусе».
«К тому ж в итоге крошка спасена».
«Во всем есть плюсы». «Думайте о плюсе».

«Чего молчите?» «Просто невтерпеж!
Дождется, что придется рассердиться!»
«Чего ты дожидаешься?» «Что ложь,
не встретив возражений, испарится».
«И что тогда?» «Естественнее все ж
на равных толковать, как говорится».
«Ну, мне осточертел его скулеж.
Давайте впрыснем кальцию, сестрица».
«Он весь дрожит». «Естественная дрожь.
То мысли обостряются от шприца».

«Ну, Горбунов, припомнили ли вы,
что снилось?» «Только море». «А лисички?»
«Увы, их больше не было». «Увы!»
«Я свыкся с ними. Это — по привычке».
«О женщинах, когда они мертвы
или смотались к черту на кулички,
так сетуют мужчины». «Вы правы:
„увы“ — мужская реплика. Кавычки».
«Но может быть и возгласом вдовы».
«Запишем обе мысли в рапортичке».

«Сны обнажают тайную канву
того, что совершается в мужчине».
«А то, что происходит наяву,
не так нас занимает по причине...»

«Причину я и сам вам назову».
«Да: Горчаков. Но дело не в личине,
им принятой скорей по озорству;
но в снах у вас — тенденция к пучине».
«Вы сон мой превращаете в Неву.
А устье говорит не о кончине,

скорей о размножении». «Едва ль
терпимо, чтоб у всяческих отбросов
пошло потомство». «Экая печаль.
Река, как уверяет нас философ,
стоит на месте, убегая вдаль».
«И это, говорят, вопрос вопросов».
«Отсюда Ньютон делает мораль».
«Ага! опять Ньютон!» «И Ломоносов».
«А что у нас за окнами?» «Февраль.
Пора метелей, спячки и доносов».

«Как месяц, он единственный в году
по дням своим». «Подобие калеки».
«Но легче ведь прожить его?» «К стыду,
признаюсь: легче легкого». «А реки?»
«Что — реки?» «Замыкаются во льду».
«Но мы-то говорим о человеке».
«Вы знаете, что ждет вас?» «На беду,
подозреваю: справка об опеке?»
«Со всем, что вы имеете в виду,
вы, в общем, здесь останетесь навеки».

«За что?!. а впрочем, следует в узде
держать себя... нет выхода другого».
«И кликнуть Горчакова». «О звезде
с ним можно побеседовать». «Толково».
«Везде есть плюсы». «Именно. Везде».
«И сам он вездесущ, как Иегова;

хотя он и доносит». «На гвозде,
как правило, и держится подкова».
«Как странно Горбунову на кресте
рассчитывать внизу на Горчакова».

«Зачем преувеличивать?» «К чему,
милейший, эти мысли о Голгофе?»
«Но это — катастрофа». «Не пойму:
вы вечность приравняли к катастрофе?»
«Он вечности не хочет потому,
что вечность — точно пробка в полуштофе».
«Да, все это ему не по уму».
«Эй, Горбунов, желаете ли кофе?»
«Почто меня покинул!» «Вы к кому
взываете?» «Опять о Горчакове

тоскует он». «Не дочка, не жена,
а Горчаков!» «Все дело в эгоизме».
«Да Горчаков ли?» «Форма не важна.
Эй, Горбунов, а ну-ка, покажись мне.
Твоя, ты знаешь, участь решена».
«А Горчаков?» «Предайся укоризне:
отныне вам разлука суждена.
Отпустим. Не вздыхай об этом слизне».
«Отныне, как обычно после жизни,
начнется вечность». «Просто тишина».

X. Разговор на крыльце

«Огромный город в сумраке густом».
«Расчерченная школьная тетрадка».
«Стоит огромный сумасшедший дом».
«Как вакуум внутри миропорядка».
«Фасад скрывает выстуженный двор,
заваленный сугробами, дровами».

«Не есть ли это тоже разговор,
коль скоро все описано словами?»
«Здесь — люди, и сошедшие с ума
от ужасов — утробных и загробных».
«А сами люди? Именно сама
возможность называть себе подобных
людьми?» «Но выражение их глаз?
Конечности их? Головы и плечи?»
«Вещь, имя получившая, тотчас
становится немедля частью речи».
«И части тела?» «Именно они».
«А место это?» «Названо же домом».
«А дни?» «Поименованы же дни».
«О, все это становится Содомом

слов алчущих! Откуда их права?»
«Тут имя прозвучало бы зловеще».
«Как быстро разбухает голова
словами, пожирающими вещи!»
«Бесспорно, это голову кружит».
«Как море — Горбунову; нездорово».
«Не море, значит, на берег бежит,
а слово надвигается на слово».
«Слова — почти подобие мощей!»
«Коль вещи эти где-нибудь да висли...
Названия — защита от вещей».
«От смысла жизни». «В некотором смысле».
«Ужель и от страдания Христа?»
«От всякого страдания». «Бог с вами!»
«Он сам словами пользовал уста...
Но он и защитил себя словами».
«Тем, собственно, пример его и вещ!»
«Гарантия, что в море — не утонем».
«И смерть его — единственная вещь
двузначная». «И, стало быть, синоним».

«Но вечность-то? Иль тоже на столе
стоит она сказалом в казакине?»
«Единственное слово на земле,
предмет не поглотившее поныне».
«Не это ли защита от словес?»
«Едва ли». «Осеняющийся Крестным
Знамением спасется». «Но не весь».
«В синониме не более воскреснем».
«Не более». «А ежели в любви?
Она — сопротивленье суесловью».
«Вы либо небожитель, либо вы
мешаете потенцию с любовью».
«Нет слова, столь лишенного примет».
«И нет непроницаемей покрова,
столь полно поглотившего предмет,
и более щемящего, как слово».
«Но ежели взглянуть со стороны,
то можно, в общем, сделать замечанье:
и слово — вещь. Тогда мы спасены!»
«Тогда и начинается молчанье.

Молчанье — это будущее дней,
катящихся навстречу нашей речи,
со всем, что мы подчеркиваем в ней,
с присутствием прощания при встрече.
Молчанье — это будущее слов,
уже пожравших гласными всю вещность,
страшащуюся собственных углов;
волна, перекрывающая вечность.
Молчанье есть грядущее любви;
пространство, а не мертвая помеха,
лишающее бьющийся в крови
фальцет ее и отклика, и эха.
Молчанье — настоящее для тех,
кто жил до нас. Молчание — как сводня,

в себе объединяющая всех,
в глаголющее вхожая сегодня.
Жизнь — только разговор перед лицом
молчанья». «Пререкания движений».
«Речь сумерек с расплывшимся концом».
«И стены — воплощенье возражений».

«Огромный город в сумраке густом».
«Речь хаоса, изложенная кратко».
«Стоит огромный сумасшедший дом,
как вакуум внутри миропорядка».
«Проклятие, как дует из углов!»
«Мой слух твое проклятие не колет:
не жизнь передо мной — победа слов».
«О как из существительных глаголет!»
«Так птица вылетает из гнезда,
гонимая заботами о харче».
«Восходит над равниною звезда
и ищет собеседника поярче».
«И самая равнина, сколько взор
охватывает, с медленностью почты
поддерживает ночью разговор».
«Чем именно?» «Неровностями почвы».
«Как различить ночных говорунов,
хоть смысла в этом нету никакого?»
«Когда повыше — это Горбунов,
а где пониже — голос Горчакова».

XI. Горбунов и Горчаков

«Ну, что тебе приснилось?» «Как всегда».
«Тогда я и не спрашиваю». «Так-то,
проснулось чувство — как его? — стыда»
«Скорее чувство меры или такта».

«Хорош!» «А что поделаешь? Среда
заела. И зависимость от факта».
«Какого?» «Попадания сюда».
«Ты довести способен до инфаркта.
Пошел ты вместе с фактами... туда».
«Давай не будем прерывать контакта».

«Зачем тебе?» «А кто его». «Ну что ж...
Так ты меня покинешь?» «После Пасхи».
«Куда же ты отсюдова пойдешь?»
«Домой пойду». «А примут без опаски?»
«Я думаю». «А где же ты живешь?»
«Не предаю я адреса огласке».
«Сдается мне, дружок, что это ложь».
«Как хочешь». «Не рассказывай мне сказки»
«Ты все равно ко мне не попадешь».
«О чем ты?» «Я все больше о развязке».

«Тогда ты прав». «Я думаю, что прав».
«Лишь думаешь?» «Ну, вырвалось случайно.
Я сомневаться не имею прав».
«А чем займешься дома?» «Это тайна».
«Подобный стиль беседовать избрав,
контакта хочешь? Странно чрезвычайно».
«Не стиль таков, а, собственно, мой нрав».
«А может, хочешь яблока ты?» «Дай, но
не расколюсь я, яблоко забрав...
Поднять и бросить, вира или майна —

вот род моих занятий основной.
Все прочее считаю посторонним».
«Глаза мне застилает пеленой!
Поднять и бросить! — это же синоним
всего происходящего со мной».
«Ну, мы тебя, не бойся, не уроним».

«Что значит „мы"?» «Не нервничай, больной.
Хошь, научу гаданью по ладоням?»
«Прости, я повернусь к тебе спиной».
«Ужель мы нашу дружбу похороним?!

Ты должен быть, по-моему, добрей».
«Таким я вышел, видимо, из чрева».
«Но бытие...» «Чайку тебе?» «Налей...
определяет...» «Греть?» «Без подогрева...
сознание... Ну ладно, подогрей».
«Прочел бы это справа ты налево».
«Да что же я, по-твоему — еврей?»
«Еврей снял это яблоко со древа
познания». «Ты, братец, дуралей.
Сняла-то Ева». «Видно, он и Ева».

«А все ж он был по-своему умен.
Является создателем науки.
И имя звучно». «Лучше без имен.
Боюсь, не отхватили бы мне руки
за этот смысловой палиндромон».
«Он тоже обрекал себя на муки.
Теперь он вождь народов и племен».
«Панмонголизм! как много в этом звуке».
«Он тоже вроде был приговорен».
«Наверно, не к разлуке». «Не к разлуке.

Что есть разлука?» «Знаешь, не пойму,
зачем тебе?» «Считай, для картотеки».
«Разлука — это судя по тому,
с кем расстаешься. Дело в человеке.
Где остаешься. Можно ль одному
остаться там, подавшись в имяреки?
Коль с близким, — отдаешь его кому?
Надолго ли?» «А ежели навеки?»

«Тогда стоишь и пялишься во тьму
такую, как опущенные веки

обычно создают тебе для сна.
И вздрагиваешь изредка от горя,
поскольку мрака явственность ясна.
И ни тебе лисичек или моря».
«А ежели за окнами весна?
Весной все легче». «Спорно это». «Споря,
не забывай, что в окнах — белизна».
«Тогда ты — словно вырванное с поля».
«Земля не кровоточит, как десна».
«Ну, видимо, на то Господня воля...

А что тебе разлука?» «Трепотня...
Ну, за спиной закрывшиеся двери.
И, если это день, сиянье дня».
«А если ночь?» «Смотря по атмосфере.
Ну, может, свет горящего огня.
А нет — скамья пустующая в сквере».
«Ты расставался с кем-нибудь, храня
воспоминанья?» «Лучше на примере».
«Ну, что ты скажешь, потеряв меня?»
«Вообще-то я не чувствую потери».

«Не чувствуешь? А все твое нытье
о дружбе?» «Это верно и поныне.
Пока у нас совместное житье,
нам лучше, видно, вместе по причине
того, что бытиё...» «Да не на „ё"!
Не бытиё, а бытие». «Да ты не —
не придирайся... да, небытиё,
когда меня не будет уж в помине,
придаст своеобразие равнине».
«Ты, стало быть, молчание мое...»

XII. Горбунов и Горчаков

«Ты ужинал?» «Я ужинал. А ты?»
«Я ужинал». «И как тебе капуста?»
«Щи оставляют в смысле густоты
желать, конечно, лучшего: не густо».
«А щи вообще, как правило, пусты.
Есть даже поговорка». «Это грустно.
Хоть уксуса чуть-чуть для остроты!»
«Все — пусто». «Отличается на вкус-то,
наверно, пустота от пустоты».
«Не жвачки мне хотелось бы, а хруста».

«В такие нас забросило места,
что ничего не остается, кроме
как постничать задолго до Поста».
«Ты говоришь о сумасшедшем доме?»
«Да, наша география проста».
«А что потом?» «Ты вечно о потом'е!
Когда — потом?» «По снятии с креста».
«О чем ты?!» «Отнесись как к идиоме».
«Положат хоть лаврового листа».
«А разведут по-прежнему на броме».

«Да, все это не кончится добром.
Бром вреден — так я думаю — здоровью»
«И волосы вылазят. Это — бром!
Ты приглядись к любому изголовью:
Бабанов расстается с серебром,
Мицкевич с высыпающейся бровью.
И у меня на темени разгром.
Он медленно приводит к малокровью».
«Бром — стенка между бесом и ребром,
чтоб мы мозги не портили любовью.

Я в армии глотал его». «Один?»
«Всей армией. Мы выдумали слово.
Он назывался „противостоин“.
Какая с ним Уланова-Орлова!»
«Я был брюнет, а делаюсь блондин.
Пробор разрушен! Жалкая основа...
А ткани нет... не вышло до седин
дожить...» «Не забывай же основного».
«Чего не забывать мне, господин?»
«Быть может, не потребуется снова».

«Кто?» «Кудри». «Вероятно». «Не дрожи».
«Мне холодно». «Засунул бы ты руки
под одеяло». «Правильно». «Скажи,
что есть любовь?» «Сказал...» «Но в каждом звуке
другие рубежи и этажи».
«Любовь есть предисловие к разлуке».
«Не может быть!» «Я памятником лжи
согласен стать, чтоб правнуки и внуки
мне на голову клали!» «Не блажи».
«Я это, как и прочее, от скуки».

«Проклятие, как дует от окна».
«Залеплено замазкой». «Безобразно.
Смотри, и батарея холодна!»
«Здесь вообще и холодно, и грязно...
Смотри, звезда над деревом видна —
без телескопа». «Видно и на глаз, но
звезда не появляется одна».
«Я вдруг подумал — но, конечно, праздно, —
что если крест да распилить бы на
дрова, взойдет ли дым крестообразно?»

«Ты спятил!» «Я не спятил, а блюду
твой интерес». «Похвальная сердечность.

Но что имеешь, собственно, в виду?»
«Согреть окоченевшую конечность».
«Да, все мои конечности во льду».
«Я прав». «Но в этом есть бесчеловечность.
Сложи поленья лучше как звезду».
«Звезда, ты прав, напоминает вечность;
не то что крест, к великому стыду».
«Не вечность, а дурную бесконечность».

«Который час?» «По-видимому, ночь».
«Молю, не начинай о Зодиаке».
«Снаружи и жена моя, и дочь.
Что о любви, то верно и о браке».
«Я тоже поджениться бы не прочь.
А вот тебе не следовало». «Паки
и паки, я гляжу, тебе невмочь,
что я женат». «Женился бы на мраке!»
«Ну, я к однообразью неохоч.
В семье есть ямы, есть и буераки».

«Который час?» «Да около ноля!»
«О, это поздно». «Не имея вкуса
к цифири, я скажу тебе, что для
меня все „о“ — предшественницы плюса».
«Ну, дали мои губы кругаля...
То ж следствие зевоты и прикуса.
Чего ты добиваешься, валя
все в кучу?» «Недоступности Эльбруса».
«А соразмерной впадины Земля
не создала?» «Отпраздновала труса».

«Уж если размышляешь о горе,
то думай о Голгофе, по причине
того, что уже март в календаре,
и я исчезну где-нибудь в лощине».

«Иль, в облаке сокрывшись, как в чадре,
сыграешь духа в этой чертовщине».
«На свой аршин ты меряешь, тире,
твоей двуглавой снеговой вершине
не уместиться ввек в моем аршине,
сжимающем сугробы во дворе».

XIII. Разговоры о море

«Твой довод мне бессмертие сулит.
Но я, твоим пророчествам на горе,
уже наполовину инвалид.
Как снов моих прожектор в коридоре,
твой светоч мою тьму не веселит...
Но это не в укор и не в укоре
все дело. То есть, пусть его горит!..
В открытом и в смежающемся взоре
все время что-то мощное бурлит,
как будто море. Думаю, что море».

«Больница. Ночь. Враждебная среда.
Внимать я не могу тебе без дрожи
от холода, но также от стыда
за светоч. Ибо море — это все же
есть впадина. Однако же туда
я не сойду, хоть истина дороже...
Но я не причиню тебе вреда!
Куда уж больше! Видимо, ты тоже
не столь уверен, море ли... Беда.
На что все это, Господи, похоже?»

«Пожалуй, море... Чайки на молу
над бабой, в них швыряющейся коркой.
И ветер треплет драную полу,

хлеща волнообразною оборкой
ей туфли... И стоит она в пылу
визгливой битвы, с выбившейся челкой,
швыряет хлеб и пялится во мглу...
Как будто, став внезапно дальнозоркой,
высматривает в Турции пчелу».

«Да, это море. Именно оно.
Пучина бытия, откуда все мы,
как витязи, явились так давно,
что, не коснись ты снова этой темы,
забыл бы я, что существует дно,
и горизонт, и прочие системы
пространства, кроме той, где суждено
нам видеть только крашеные стены
с лиловыми их полосами; но
умеющие слышати, да немы».

«Есть в жизни нечто большее, чем мы,
что греет нас, само себя не грея,
что громоздит на впадины холмы —
хотя бы и при помощи Борея,
друг другу их несущего взаймы.
Я чувствую, что шествую во сне я
ступеньками, ведущими из тьмы
то в бездну, то в преддверье эмпирея,
один, среди цветущей бахромы —
бессонным эскалатором Нерея».

«Но море слишком чуждая среда,
чтоб верить в чьи-то странствия по водам.
Конечно, если не было там льда.
Похоже, Горбунов, твоим невзгодам
конца не видно. Видно, на года,
как вся эта история с исходом,

рассчитаны они... Невесть куда
все дальше побредешь ты с каждым годом,
туда, где с небом соткана вода.
К кому воззвать под этим небосводом?»

«Для этого душа моя слаба.
Я волны, а не крашеные наши
простенки узрю всюду, где судьба
прибьет меня — от Рая до параши.
И это, Горчаков, не похвальба:
в таком водонебесном ералаше
о чем бы и была моя мольба?
Для слышати умеющего краше
валов артиллерийская пальба,
чем слезное моление о чаше».

«Но это — грех!.. да что же я? Браня
тебя, забыл о выходке с дровами...
Мне помнится, ты спрашивал меня,
что снится мне. Я выразил словами,
и я сказал, что сон — наследье дня,
а ты назвал лисички островами.
Я это говорю тебе, клоня
к тому, что жестко нам под головами.
Теперь ты видишь море — трепотня!
И тот же сон, хоть с бóльшими правами».

«А что есть сон?» «Основа всех основ».
«И мы в него впадаем, словно реки».
«Мы в темноту впадаем, и хренов
твой вымысел. Что спрашивать с калеки!»
«Сон — выход из потемок». «Горбунов!
В каком живешь, ты забываешь, веке.
Твой сон не нов!» «И человек не нов».
«Зачем ты говоришь о человеке?»

«А человек есть выходец из снов».
«И что же в нем решающее?» «Веки.

Закроешь их и видишь темноту».
«Хотя бы и при свете?» «И при свете...
И вдруг заметишь первую черту.
Одна, другая... третья на примете.
В ушах шумит и холодно во рту.
Потом бегут по набережной дети,
и чайки хлеб хватают на лету...»
«А нет ли там меня, на парапете?»
«И все, что вижу я в минуту ту,
реальнее, чем ты на табурете».

XIV. Разговор в разговоре

«Но это — бред! Ты слышишь, это бред!
Поди сюда, Бабанов, ты — свидетель!
Смотри: вот я встаю на табурет!
На мне халат без пуговиц и петель!
Ну, Горбунов, узрел меня ты?» «Нет».
«А цвет кальсон?» «Ей-Богу, не заметил».
«Сейчас я размозжу тебе портрет!
Ну, Горбунов, считай, поднялся ветер!
Сейчас из моря будет винегрет!
Ты слышишь, гад?» «Да я уже ответил».

«Ах, так! Так пустим в дело кулаки!
Учить, учить приходится болванов!
На, получай! А ну-ка, прореки,
кто вдарил: Горчаков или Бабанов?»
«По-моему, Гор-банов». «Ты грехи
мне отпускаешь, вижу я! Из кранов
сейчас польет твой окиян!» «Хи-хи».
«А ты что ржешь?! У, скопище баранов!»

«Чего вы расшумелись, старики?»
«Уйди, Мицкевич!» «Я из ветеранов,

и я считаю, ежели глаза
чувак закрыл, — завязывай; тем боле,
что ночь уже». «Да я и врезал за,
за то, что он закрыл их не от боли».
«Сказал тебе я: жми на тормоза».
«Ты что, Мицкевич? Охренел ты, что ли?
Да на кого ты тянешь, стрекоза?»
«Я пасть те разорву!» «Ой-ой, мозоли!»
«Эй, мужики, из-за чего буза?»
«Да пес поймет». «На хвост кому-то соли

насыпали». «Атас, идут врачи!»
«В кровати, живо!» «Я уже в постели!»
«Ты, Горбунов, закройся и молчи,
как будто спишь». «А он и в самом деле
уже заснул». «Атас, звенят ключи!»
«Заснул? Не может быть! Вы обалдели!»
«Заткнись, кретин!» «Бабанов, не дрочи».
«Оставь его». «Я, правда, еле-еле».
«Ну, Горбунов, попробуй настучи».
«Да он заснул». «Ну, братцы, залетели».

«Как следует приветствовать врачей?»
«Вставанием... вставайте, раскоряки!»
«Есть жалобы у вас насчет харчей?»
«Я слышал шум, но я не вижу драки».
«Какая драка, свет моих очей?»
«Медбрат сказал, что здесь дерутся». «Враки».
«Ты не юли мне». «Чей это ручей?»
«Да это ссака». «Я же не о ссаке.
Не из чего, я спрашиваю — чей?»
«Да, чей, орлы?» «Кубанские казаки».

«Мицкевич!» «Ась?» «Чтоб вытереть, аспид!»
«Да, мы, врачи, заботимся о быте».
«А Горбунов что не встает?» «Он спит».
«Он, значит, спит, а вы еще не спите».
«Сейчас ложимся». «Верно, это стыд».
«Ну, мы пошли». «Смотрите, не храпите».
«Чтоб слышно, если муха пролетит!»
«Мне б на оправку». «Утром, потерпите».
«Ты, Горчаков, ответственный за быт».
«Да, вот вам новость: спутник на орбите».

«Ушли». «Эй, Горчаков, твоя моча?»
«Иди ты на...» «Ну, закрываем глазки».
«На Пасху хорошо бы кулича».
«Да, разговеться. Маслица, колбаски...»
«Чего же не спросил ты у врача?
Ты мог бы это сделать без опаски:
он спрашивал». «Забыл я сгоряча».
«Заткнитесь вы. Заладили о Пасхе».
«Глянь, Горчаков-то, что-то бормоча,
льнет к Горбунову». «Это для отмазки».

«Ты вправду спишь? Да, судя по всему,
ты вправду спишь... Как спутались все пряди.
Как все случилось, сам я не пойму.
Прости меня, прости мне, Бога ради.
Постой, подушку дай приподниму...
Удобней так?.. Я сам с собой в разладе.
Прости... Мне это все не по уму.
Спи... если вправду говорить о взгляде,
тут задержаться не на чем ему —
тут всё преграда. Только на преграде.

Спи, Горбунов. Пока труба отбой
не пропоет... Всем предпочту наградам

стеречь твой сон... а впрочем, с ней, с трубой!
Ты не привык, а я привык к преградам.
Прости меня с моею похвальбой.
Прости меня со всем моим разладом...
Спи, спи, мой друг. Я посижу с тобой.
Не над тобой, не под — а просто рядом.
А что до сроков — я прожду любой,
пока с тобой не повстречаюсь взглядом...

Что видишь? Море? Несколько морей?
И ты бредешь сквозь волны коридором...
И рыбы молча смотрят из дверей...
Я — за тобой... но тотчас перед взором
всплывают мириады пузырей...
Мне не пройти, не справиться с напором...
Что ты сказал?!. Почудилось... Скорей
всего, я просто брежу разговором...
Смотри-ка, как бесчинствует Борей:
подушка смята, кончено с пробором...»

1965—1968

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЯЛТЕ

История, рассказанная ниже,
правдива. К сожаленью, в наши дни
не только ложь, но и простая правда
нуждается в солидных подтвержденьях
и доводах. Не есть ли это знак,
что мы вступаем в совершенно новый,
но грустный мир? Доказанная правда
есть, собственно, не правда, а всего
лишь сумма доказательств. Но теперь
не говорят «я верю», а «согласен».

В атомный век людей волнуют больше
не вещи, но строение вещей.
И как ребенок, распатронив куклу,
рыдает, обнаружив в ней труху,
так подоплеку тех или иных
событий мы обычно принимаем
за самые событья. В этом есть
свое очарование, поскольку
мотивы, отношения, среда
и прочее — все это жизнь. А к жизни
нас приучили относиться как
к объекту наших умозаключений.

И кажется порой, что нужно только
переплести мотивы, отношенья,
среду, проблемы — и произойдет
событие; допустим, преступленье.
Ан нет. За окнами — обычный день,
накрапывает дождь, бегут машины,

и телефонный аппарат (клубок
катодов, спаек, клемм, сопротивлений)
безмолвствует. Событие, увы,
не происходит. Впрочем, слава Богу.

Описанное здесь случилось в Ялте.
Естественно, что я пойду навстречу
указанному выше представленью
о правде — то есть стану потрошить
ту куколку. Но да простит меня
читатель добрый, если кое-где
прибавлю к правде элемент Искусства,
которое, в конечном счете, есть
основа всех событий (хоть искусство
писателя не есть Искусство жизни,
а лишь его подобье).
                                        Показанья
свидетелей даются в том порядке,
в каком они снимались. Вот пример
зависимости правды от искусства,
а не искусства — от наличья правды.

1

«Он позвонил в тот вечер и сказал,
что не придет. А мы с ним сговорились
еще во вторник, что в субботу он
ко мне заглянет. Да, как раз во вторник.
Я позвонил ему и пригласил
его зайти, и он сказал: „В субботу“.
С какою целью? Просто мы давно
хотели сесть и разобрать совместно
один этюд Чигорина. И все.
Другой, как вы тут выразились, цели

у встречи нашей не было. При том
условии, конечно, что желанье
увидеться с приятным человеком
не называют целью. Впрочем, вам
видней... но, к сожалению, в тот вечер
он, позвонив, сказал, что не придет.
А жаль! я так хотел его увидеть.

Как вы сказали: был взволнован? Нет.
Он говорил своим обычным тоном.
Конечно, телефон есть телефон;
но, знаете, когда лица не видно,
чуть-чуть острей воспринимаешь голос.
Я не слыхал волнения... Вообще-то
он как-то странно составлял слова.
Речь состояла более из пауз,
всегда смущавших несколько. Ведь мы
молчанье собеседника обычно
воспринимаем как работу мысли.
А это было чистое молчанье.
Вы начинали ощущать свою
зависимость от этой тишины,
и это сильно раздражало многих.
Нет, я-то знал, что этот результат
контузии. Да, я уверен в этом.
А чем еще вы объясните... Как?
Да, значит, он не волновался. Впрочем,
ведь я сужу по голосу, и только.
Скажу во всяком случае одно:
тогда во вторник и потом в субботу
он говорил обычным тоном. Если
за это время что-то и стряслось,
то не в субботу. Он же позвонил!
Взволнованные так не поступают!
Я, например, когда волнуюсь... Что?

Как протекал наш разговор? Извольте.
Как только прозвучал звонок, я тотчас
снял трубку. „Добрый вечер, это я.
Мне нужно перед вами извиниться,
Так получилось, что прийти сегодня
я не сумею“. Правда? Очень жаль.
Быть может, в среду? Мне вам позвонить?
Помилуйте, какие тут обиды!
Так до среды? И он: „Спокойной ночи“.
Да, это было около восьми.
Повесив трубку, я прибрал посуду
и вынул доску. Он в последний раз
советовал пойти ферзем Е-8.
То был какой-то странный, смутный ход.
Почти нелепый. И совсем не в духе
Чигорина. Нелепый, странный ход,
не изменявший ничего, но этим
на нет сводивший самый смысл этюда.
В любой игре существенен итог:
победа, пораженье, пусть ничейный,
но все же результат. А этот ход —
он как бы вызывал у тех фигур
сомнение в своем существованье.
Я просидел с доской до поздней ночи.
Быть может, так когда-нибудь и будут
играть, но что касается меня...
Простите, я не понял: говорит ли
мне что-нибудь такое имя? Да.
Пять лет назад мы с нею разошлись.
Да, правильно: мы не были женаты.
Он знал об этом? Думаю, что нет.
Она бы говорить ему не стала.
Что? Эта фотография? Ее
я убирал перед его приходом.
Нет, что вы! вам не нужно извиняться.

Такой вопрос естественен, и я...
Откуда мне известно об убийстве?
Она мне позвонила в ту же ночь.
Вот у кого взволнованный был голос!»

2

«Последний год я виделась с ним редко,
но виделась. Он приходил ко мне
два раза в месяц. Иногда и реже.
А в октябре не приходил совсем.
Обычно он предупреждал звонком
заранее. Примерно за неделю.
Чтоб не случилось путаницы. Я,
вы знаете, работаю в театре.
Там вечно неожиданности. Вдруг
заболевает кто-нибудь, сбегает
на киносъемку — нужно заменять.
Ну, в общем, в этом духе. И к тому же
— к тому ж он знал, что у меня теперь...
Да, верно. Но откуда вам известно?
А впрочем, это ваше амплуа.
Но то, что есть теперь, ну, это, в общем,
серьезно. То есть я хочу сказать,
что это... Да, и несмотря на это
я с ним встречалась. Как вам объяснить!
Он, видите ли, был довольно странным
и непохожим на других. Да, все,
все люди друг на друга непохожи.
Но он был непохож на всех других.

Да, это в нем меня и привлекало.
Когда мы были вместе, все вокруг
существовать переставало. То есть
все продолжало двигаться, вертеться —

мир жил; и он его не заслонял.
Нет! я вам говорю не о любви!
Мир жил. Но на поверхности вещей —
как движущихся, так и неподвижных
вдруг возникало что-то вроде пленки,
вернее — пыли, придававшей им
какое-то бессмысленное сходство.
Так, знаете, в больницах красят белым
и потолки, и стены, и кровати.
Ну, вот представьте комнату мою,
засыпанную снегом. Правда, странно?
А вместе с тем, не кажется ли вам,
что мебель только выиграла б от
такой метаморфозы? Нет? А жалко.
Я думала тогда, что это сходство
и есть действительная внешность мира.
Я дорожила этим ощущеньем.

Да, именно поэтому я с ним
совсем не порывала. А во имя
чего, простите, следовало мне
расстаться с ним? Во имя капитана?
А я так не считаю. Он, конечно,
серьезный человек, хоть офицер.
Но это ощущенье для меня
всего важнее! Разве он сумел бы
мне дать его? О Господи, я только
сейчас и начинаю понимать,
насколько важным было для меня
то ощущенье! Да, и это странно.
Что именно? Да то, что я сама
отныне стану лишь частичкой мира,
что и на мне появится налет
той патины. А я-то буду думать,
что непохожа на других!.. Пока

мы думаем, что мы неповторимы,
мы ничего не знаем. Ужас, ужас.

Простите, я налью себе вина.
Вам тоже? С удовольствием. Ну что вы,
я ничего не думаю! Когда
и где мы познакомились? Не помню.
Мне кажется, на пляже. Верно, там:
в Ливадии, на санаторском пляже.
А где еще встречаешься с людьми
в такой дыре, как наша? Как, однако,
вам все известно обо мне! Зато
вам никогда не угадать тех слов,
с которых наше началось знакомство.
А он сказал мне: „Понимаю, как
я вам противен, но...“ — что было дальше,
не так уж важно. Правда, ничего?
Как женщина советую принять
вам эту фразу на вооруженье.
Что мне известно о его семье?
Да ровным счетом ничего. Как будто,
как будто сын был у него — но где?
А впрочем, нет, я путаю: ребенок
у капитана. Да, мальчишка, школьник.
Угрюм; но, в общем, вылитый отец...
Нет, о семье я ничего не знаю.
И о знакомых тоже. Он меня
ни с кем, насколько помню, не знакомил.
Простите, я налью себе еще.
Да, совершенно верно: душный вечер.

Нет, я не аю, кто его убил.
Как вы сказали? Что вы! Это — тряпка.
Сошел с ума от ферзевых гамбитов.
К тому ж они приятели. Чего

я не могла понять, так этой дружбы.
Там, в ихнем клубе, они так дымят,
что могут завонять весь Южный Берег.
Нет, капитан в тот вечер был в театре.
Конечно, в штатском! Я не выношу
их форму. И потом мы возвращались
обратно вместе.
Мы его нашли
в моем парадном. Он лежал в дверях.
Сначала мы решили — это пьяный.
У нас в парадном, знаете, темно.
Но тут я по плащу его узнала:
на нем был белый плащ, но весь в грязи.
Да, он не пил. Я знаю это твердо;
да, видимо, он полз. И долго полз.
Потом? Ну, мы внесли его ко мне
и позвонили в отделенье. Я?
Нет — капитан. Мне было просто худо.

Да, все это действительно кошмар.
Вы тоже так считаете? Как странно.
Ведь это — ваша служба. Вы правы:
да, к этому вообще привыкнуть трудно.
И вы ведь тоже человек... Простите!
Я неудачно выразилась... Да,
пожалуйста! Но мне не наливайте.
Мне хватит. И к тому ж я плохо сплю,
а утром — репетиция. Ну, разве
как средство от бессонницы. Вы в этом
убеждены? Тогда — один глоток.
Вы правы, нынче очень, очень душно.
И тяжело. И совершенно нечем
дышать. И все мешает. Духота.
Я задыхаюсь. Да. А вы? А вы?
Вы тоже, да? А вы? А вы? Я больше —

я больше ничего не знаю. Да?
Я совершенно ничего не знаю.
Ну что вам нужно от меня? Ну что вы...
Ну что ты хочешь? А? Ну что? Ну что? Ну что?»

3

«Так вы считаете, что я обязан
давать вам объяснения? Ну что ж,
обязан так обязан. Но учтите:
я вас разочарую, так как мне
о нем известно, безусловно, меньше,
чем вам. Хотя того, что мне известно,
достаточно, чтобы сойти с ума.
Вам, полагаю, это не грозит,
поскольку вы... Да, совершенно верно:
я ненавидел этого субъекта.
Причины вам, я думаю, ясны.
А если нет — вдаваться в объясненья
бессмысленно. Тем более, что вас,
в конце концов, интересуют факты.
Так вот: я признаю, что ненавидел.
Нет, мы с ним не были знакомы. Я —
я знал, что у нее бывает кто-то.
Но я не знал, кто именно. Она,
конечно, ничего не говорила.
Но я-то знал! Чтоб это знать, не нужно
быть Шерлок Холмсом вроде вас. Вполне
достаточно обычного вниманья.
Тем более... Да, слепота возможна.
Но вы совсем не знаете ее!
Ведь если она мне не говорила
об этом типе, то не для того,
чтоб что-то скрыть! Ей просто не хотелось

расстраивать меня. Да и скрывать
там, в общем, было нечего. Она же
сама призналась — я ее припер
к стене, — что скоро год, как ничего
уже меж ними не было... Не понял —
поверил ли я ей? Ну да, поверил.
Другое дело, стало ли мне легче.

Возможно, вы и правы. Вам видней.
Но если люди что-то говорят,
то не затем, чтоб им не доверяли.
По мне, уже само движенье губ
существенней, чем правда и неправда:
в движенье губ гораздо больше жизни,
чем в том, что эти губы произносят.
Вот я сказал вам, что поверил; нет!
Здесь было нечто большее. Я просто
увидел, что она мне говорит.
(Заметьте, не услышал, но увидел!)
Поймите, предо мной был человек.
Он говорил, дышал и шевелился.
Я не хотел считать все это ложью,
да и не мог... Вас удивляет, как
с таким подходом к человеку все же
я ухитрился получить четыре
звезды? Но это — маленькие звезды.
Я начинал совсем иначе. Те,
с кем начинал я, — те давно имеют
большие звезды. Многие и по две.
(Прибавьте к вашей версии, что я
еще и неудачник; это будет
способствовать ее правдоподобью.)
Я, повторяю, начинал иначе.
Я, как и вы, везде искал подвох.
И находил, естественно. Солдаты —

такой народ — все время норовят
начальство охмурить... Но как-то я
под Кошице, в сорок четвертом, понял,
что это глупо. Предо мной в снегу
лежало двадцать восемь человек,
которым я не доверял, — солдаты.
Что? Почему я говорю о том,
что не имеет отношенья к делу?
Я только отвечал на ваш вопрос.

Да, я вдовец. Уже четыре года.
Да, дети есть. Один ребенок, сын.
Где находился вечером в субботу?
В театре. А потом я провожал
ее домой. Да, он лежал в парадном.
Что? Как я реагировал? Никак.
Конечно, я узнал его. Я видел
их вместе как-то раз в универмаге.
Они там что-то покупали. Я
тогда и понял...
                    Дело в том, что с ним
я сталкивался изредка на пляже.
Нам нравилось одно и то же место —
там, знаете, у сетки. И всегда
я видел у него на шее пятна...
те самые, ну, знаете... Ну вот.
Однажды я сказал ему — ну, что-то
насчет погоды, — и тогда он быстро
ко мне нагнулся и, не глядя на
меня, сказал: „Мне как-то с вами неохота“,
и только через несколько секунд
добавил: „разговаривать“. При этом
все время он смотрел куда-то вверх.
Вот в ту минуту я, клянусь вам, мог
убить его. В глазах моих стемнело,

я ощутил, как заливает мозг
горячая волна, и на мгновенье,
мне кажется, я потерял сознанье.
Когда я наконец пришел в себя,
он возлежал уже на прежнем месте,
накрыв лицо газетой, и на шее
темнели эти самые подтеки...
Да, я не знал тогда, что это — он.
По счастью, я еще знаком с ней не был

Потом? Потом он, кажется, исчез:
я как-то не встречал его на пляже.
Потом был вечер в Доме Офицеров,
и мы с ней познакомились. Потом
я увидал их там, в универмаге...
Поэтому его в субботу ночью
я сразу же узнал. Сказать вам правду,
я до известной степени был рад.
Иначе все могло тянуться вечно,
и всякий раз после его визитов
она была немного не в себе.
Теперь, надеюсь, все пойдет как надо.
Сначала будет малость тяжело,
но я-то знаю, что в конце концов
убитых забывают. И к тому же
мы, видимо, уедем. У меня
есть вызов в Академию. Да, в Киев.
Ее возьмут в любой театр. А сын
с ней очень дружит. И возможно, мы
с ней заведем и своего ребенка.
Я — хахаха — как видите, еще...
Да, я имею личное оружье.
Да нет, не „стечкин“ — просто у меня
еще с войны трофейный парабеллум.
Ну да, раненье было огнестрельным».

4

«В тот вечер батя отвалил в театр,
а я остался дома вместе с бабкой.
Ага, мы с ней смотрели телевизор.
Уроки? Так ведь то ж была суббота!
Да, значит, телевизор. Про чего?
Сейчас уже не помню. Не про Зорге?
Ага, про Зорге! Только до конца
я не смотрел — я видел это раньше.
У нас была экскурсия в кино.
Ну вот... С какого места я ушел?
Ну, это там, где Клаузен и немцы.
Верней, японцы... и потом они
еще плывут вдоль берега на лодке.
Да, это было после девяти.
Наверно. Потому что гастроном
они в субботу закрывают в десять,
а я хотел мороженого. Нет,
я посмотрел в окно — ведь он напротив.
Да, и тогда я захотел пройтись.
Нет, бабке не сказался. Почему?
Она бы зарычала — ну, пальто,
перчатки, шапка — в общем, все такое.
Ага, был в куртке. Нет, совсем не в этой,
а в той, что с капюшоном. Да, она
на молнии.
Да, положил в карман.
Да нет, я просто знал, где ключ он прячет...
Конечно, просто так! И вовсе не
для хвастовства! Кому бы стал я хвастать?
Да, было поздно и вообще темно.
О чем я думал? Ни о чем не думал.
По-моему, я просто шел и шел.

Что? Как я очутился наверху?
Не помню... в общем, потому что сверху
спускаешься, когда перед тобой
все время — гавань. И огни в порту.
Да, верно, и стараешься представить,
что там творится. И вообще когда
уже домой — приятнее спускаться.
Да, было тихо и была луна.
Ну, в общем было здорово красиво.
Навстречу? Нет, никто не попадался.
Нет, я не знал, который час. Но „Пушкин"
в субботу отправляется в двенадцать,
а он еще стоял — там, на корме,
салон для танцев, где цветные стекла,
и сверху это вроде изумруда.
Ага, и вот тогда...

Чего? Да нет же!

Енный дом над парком, а его
я встретил возле выхода из парка.
Чего? а вообще у нас какие
с ней отношения? Ну как — она
красивая. И бабка так считает.
И вроде ничего, не лезет в душу.
Но мне-то это, в общем, все равно.
Папаша разберется...

Да, у входа.

Ага, курил. Ну да, я попросил,
а он мне не дал и потом... Ну, в общем,
он мне сказал: „А ну катись отсюда" —
и чуть попозже — я уж отошел
шагов на десять, может быть, и больше —
вполголоса прибавил: „негодяй".
Стояла тишина, и я услышал.
Не знаю, что произошло со мной!
Ага, как будто кто меня ударил.

Мне словно чем-то залило глаза,
и я не помню, как я обернулся
и выстрелил в него! Но не попал:
он продолжал стоять на прежнем месте
и, кажется, курил. И я... и я...
Я закричал и бросился бежать.
А он — а он стоял...
Никто со мною
так никогда не говорил! А что,
а что я сделал? Только попросил.
Да, папиросу. Пусть и папиросу!
Я знаю, это плохо. Но у нас
почти все курят. Мне и не хотелось
курить-то даже! Я бы не курил,
я только подержал бы... Нет же! нет же!
Я не хотел себе казаться взрослым!
Ведь я бы не курил! Но там, в порту,
везде огни и светлячки на рейде...
И здесь бы тоже... Нет, я не могу
как следует все это... Если можно,
прошу вас: не рассказывайте бате!
А то убьет... Да, положил на место.
А бабка? Нет, она уже уснула.
Не выключила даже телевизор,
и там мелькали полосы... Я сразу,
я сразу положил его на место
и лег в кровать! Не говорите бате!
Не то убьет! Ведь я же не попал!
Я промахнулся! Правда? Правда? Правда?!»

5

Такой-то и такой-то. Сорок лет.
Национальность. Холост. Дети — прочерк.

Откуда прибыл. Где прописан. Где,
когда и кем был найден мертвым. Дальше
идут подозреваемые: трое.
Итак, подозреваемые — трое.
Вообще, сама возможность заподозрить
трех человек в убийстве одного
весьма красноречива. Да, конечно,
три человека могут совершить
одно и то же. Скажем, съесть цыпленка.
Но тут — убийство. И в самом том факте,
что подозренье пало на троих,
залог того, что каждый был способен
убить. И этот факт лишает смысла
все следствие — поскольку в результате
расследованья только узнаешь,
кто именно; но вовсе не о том, что
другие не могли... Ну что вы! Нет!
Мороз по коже? Экий вздор! Но в общем
способность человека совершить
убийство и способность человека
расследовать его — при всей своей
преемственности видимой — бесспорно
не равнозначны. Вероятно, это
как раз эффект их близости... О да,
все это грустно...
                                        Как? Как вы сказали?!
Что именно само уже число
лиц, на которых пало подозренье,
объединяет как бы их и служит
в каком-то смысле алиби? Что нам
трех человек не накормить одним
цыпленком? Безусловно. И, выходит,
убийца не внутри такого круга,
но за его пределами. Что он
из тех, которых не подозреваешь?!

Иначе говоря, убийца — тот,
кто не имеет повода к убийству?!
Да, так оно и вышло в этот раз.
Да-да, вы правы... Но ведь это... это...
Ведь это — апология абсурда!
Апофеоз бессмысленности! Бред!
Выходит, что тогда оно — логично.
Постойте! Объясните мне тогда,
в чем смысл жизни? Неужели в том,
что из кустов выходит мальчик в куртке
и начинает в вас палить?! А если,
а если это так, то почему
мы называем это преступленьем?
И, сверх того, расследуем! Кошмар.
Выходит, что всю жизнь мы ждем убийства,
что следствие — лишь форма ожиданья,
и что преступник вовсе не преступник,
и что...
Простите, мне нехорошо.
Поднимемся на палубу: здесь душно...
Да, это Ялта. Видите, вон там —
там этот дом. Нет, чуть повыше, возле
Мемориала... Как он освещен!
Красиво, правда?.. Нет, не знаю, сколько
дадут ему. Да, все это уже
не наше дело. Это — суд. Наверно,
ему дадут... Простите, я сейчас
не в силах размышлять о наказаньи.
Мне что-то душно. Ничего, пройдет.
Да, в море будет несомненно легче.
Ливадия? Она вон там. Да-да,
та группа фонарей. Шикарно, правда?
Да, хоть и ночью. Как? Я не расслышал?
Да, слава Богу. Наконец плывем.

«Колхида» вспенила бурун, и Ялта —
с ее цветами, пальмами, огнями,
отпускниками, льнущими к дверям
закрытых заведений, точно мухи
к зажженным лампам, — медленно качнулась
и стала поворачиваться. Ночь
над морем отличается от ночи
над всякой сушею примерно так же,
как в зеркале встречающийся взгляд —
от взгляда на другого человека.
«Колхида» вышла в море. За кормой
струился пенистый, шипящий след,
и полуостров постепенно таял
в полночной тьме. Вернее, возвращался
к тем очертаньям, о которых нам
твердит географическая карта.

январь—февраль 1969

РАЗГОВОР С НЕБОЖИТЕЛЕМ

Здесь, на земле,
где я впадал то в истовость, то в ересь,
где жил, в чужих воспоминаньях греясь,
как мышь в золе,
где хуже мыши
глодал петит родного словаря,
тебе чужого, где, благодаря
тебе, я на себя взираю свыше,

уже ни в ком
не видя места, коего глаголом
коснуться мог бы, не владея горлом,
давясь кивком
звонкоголосой падали, слюной
кропя уста взамен кастальской влаги,
кренясь Пизанской башнею к бумаге
во тьме ночной,

тебе твой дар
я возвращаю — не зарыл, не пропил;
и, если бы душа имела профиль,
ты б увидал,
что и она
всего лишь слепок с горестного дара,
что более ничем не обладала,
что вместе с ним к тебе обращена.

Не стану жечь
тебя глаголом, исповедью, просьбой,

проклятыми вопросами — той оспой,
которой речь
почти с пелен
заражена — кто знает? — не тобой ли;
надежным то есть образом от боли
ты удален.

Не стану ждать
твоих ответов, Ангел, поелику
столь плохо представляемому лику,
как твой, под стать,
должно быть, лишь
молчанье — столь просторное, что эха
в нем не сподобятся ни всплески смеха,
ни вопль: «Услышь!»

Вот это мне
и блазнит слух, привыкший к разнобою,
и облегчает разговор с тобою
наедине.
В Ковчег птенец
не возвратившись, доказует то, что
вся вера есть не более, чем почта
в один конец.

Смотри ж, как наг
и сир, жлоблюсь о Господе, и это
одно тебя избавит от ответа.
Но это — подтверждение и знак,
что в нищете
влачащий дни не устрашится кражи,
что я кладу на мысль о камуфляже.
Там, на кресте

не возоплю: «Почто меня оставил?!»
Не превращу себя в благую весть!
Поскольку боль — не нарушенье правил:
страданье есть
способность тел,
и человек есть испытатель боли.
Но то ли свой ему неведом, то ли
ее предел.

*

Здесь, на земле,
все горы — но в значении их узком —
кончаются не пиками, но спуском
в кромешной мгле,
и, сжав уста,
стигматы завернув свои в дерюгу,
идешь на вещи по второму кругу,
сойдя с креста.

Здесь, на земле,
от нежности до умоисступленья
все формы жизни есть приспособленье.
И в том числе
взгляд в потолок
и жажда слиться с Богом, как с пейзажем,
в котором нас разыскивает, скажем,
один стрелок.

Как на сопле,
все виснет на крюках своих вопросов,
как вор трамвайный, бард или философ —
здесь, на земле,

из всех углов
несет, как рыбой, с одесной и с левой
слиянием с природой или с девой
и башней слов!

Дух-исцелитель!
Я из бездонных мозеровских блюд
так нахлебался варева минут
и римских литер,
что в жадный слух,
который прежде не был привередлив,
не входят щебет или шум деревьев —
я нынче глух.

О нет, не помощь
зову твою, означенная высь!
Тех нет объятий, чтоб не разошлись
как стрелки в полночь.
Не жгу свечи,
когда, разжав железные объятья,
будильники, завернутые в платья,
гремят в ночи!

И в этой башне,
в правнучке вавилонской, в башне слов,
все время недостроенной, ты кров
найти не дашь мне!
Такая тишь
там, наверху, встречает златоротца,
что, на чердак карабкаясь, летишь
на дно колодца.

Там, наверху —
услышь одно: благодарю за то, что
ты отнял все, чем на своем веку
владел я. Ибо созданное прочно,

продукт труда
есть пища вора и прообраз Рая,
верней — добыча времени: теряя
(пусть навсегда)

что-либо, ты
не смей кричать о преданной надежде:
то Времени, невидимые прежде,
в вещах черты
вдруг проступают, и теснится грудь
от старческих морщин; но этих линий —
их не разгладишь, тающих, как иней,
коснись их чуть.

Благодарю...
Верней, ума последняя крупица
благодарит, что не дал прилепиться
к тем кущам, корпусам и словарю,
что ты не в масть
моим задаткам, комплексам и форам
зашел — и не предал их жалким формам
меня во власть.

*

Ты за утрату
горазд все это отомщеньем счесть,
моим приспособленьем к циферблату,
борьбой, слияньем с Временем — Бог весть!
Да полно, мне ль!
А если так — то с временем неблизким,
затем что чудится за каждым диском
в стене — туннель.

Ну что же, рой!
Рой глубже и, как вырванное с мясом,
шей сердцу страх пред грустною порой,
пред смертным часом.
Шей бездну мук,
старайся, перебарщивай в усердьи!
Но даже мысль — о как его! — бессмертьи
есть мысль об одиночестве, мой друг.

Вот эту фразу
хочу я прокричать и посмотреть
вперед — раз перспектива умереть
доступна глазу —
кто издали
откликнется? Последует ли эхо?
Иль ей и там не встретится помеха,
как на земли?

Ночная тишь...
Стучит башкой об стол, заснув, заочник.
Кирпичный будоражит позвоночник
печная мышь.
И за окном
толпа деревьев в деревянной раме,
как легкие на школьной диаграмме,
объята сном.

Все откололось...
И время. И судьба. И о судьбе...
Осталась только память о себе,
негромкий голос.
Она одна.
И то — как шлак перегоревший, гравий,
за счет каких-то писем, фотографий,
зеркал, окна, —

исподтишка...
и горько, что не вспомнить основного!
Как жаль, что нету в Христианстве Бога —
пускай божка —
воспоминаний, с пригоршней ключей
от старых комнат — идолища с ликом
старьевщика — для коротанья слишком
глухих ночей.

Ночная тишь.
Вороньи гнезда, как каверны в бронхах.
Отрепья дыма роются в обломках
больничных крыш.
Любая речь
безадресна, увы, об эту пору —
чем я сумел, друг-небожитель, спору
нет, пренебречь.

Страстная. Ночь.
И вкус во рту от жизни в этом мире,
как будто наследил в чужой квартире
и вышел прочь!
И мозг под током!
И там, на тридевятом этаже
горит окно. И, кажется, уже
не помню толком,

о чем с тобой
витийствовал — верней, с одной из кукол,
пересекающих полночный купол.
Теперь отбой,
и невдомек,
зачем так много черного на белом?
Гортань исходит грифелем и мелом,
и в ней — комок

не слов, не слез,
но странной мысли о победе снега —
отбросов света, падающих с неба, —
почти вопрос.
В мозгу горчит,
и за стеною в толщину страницы
вопит младенец, и в окне больницы
старик торчит.

Апрель. Страстная. Все идет к весне.
Но мир еще во льду и в белизне.
И взгляд младенца,
еще не начинавшего шагов,
не допускает таянья снегов.
Но и не деться
от той же мысли — задом наперед —
в больнице старику в начале года:
он видит снег и знает, что умрет
до таянья его, до ледохода.

март—апрель 1970

POST AETATEM NOSTRAM

А. Я. Сергееву

I

«Империя — страна для дураков».
Движенье перекрыто по причине
приезда Императора. Толпа
теснит легионеров, песни, крики;
но паланкин закрыт. Объект любви
не хочет быть объектом любопытства.

В пустой кофейне позади дворца
бродяга-грек с небритым инвалидом
играют в домино. На скатертях
лежат отбросы уличного света,
и отголоски ликованья мирно
шевелят шторы. Проигравший грек
считает драхмы; победитель просит
яйцо вкрутую и щепотку соли.

В просторной спальне старый откупщик
рассказывает молодой гетере,
что видел Императора. Гетера
не верит и хохочет. Таковы
прелюдии у них к любовным играм.

II
Дворец

Изваянные в мраморе сатир
и нимфа смотрят в глубину бассейна,
чья гладь покрыта лепестками роз.

Наместник, босиком, собственноручно
кровавит морду местному царю
за трех голубок, угоревших в тесте
(в момент разделки пирога взлетевших,
но тотчас же попадавших на стол).
Испорчен праздник, если не карьера.

Царь молча извивается на мокром
полу под мощным, жилистым коленом
Наместника. Благоуханье роз
туманит стены. Слуги безучастно
глядят перед собой, как изваянья.
Но в гладком камне отраженья нет.

В неверном свете северной луны,
свернувшись у трубы дворцовой кухни,
бродяга-грек в обнимку с кошкой смотрят,
как два раба выносят из дверей
труп повара, завернутый в рогожу,
и медленно спускаются к реке.
Шуршит щебенка.
                                        Человек на крыше
старается зажать кошачью пасть.

III

Покинутый мальчишкой брадобрей
глядится молча в зеркало — должно быть,
грустя о нем и начисто забыв
намыленную голову клиента.
«Наверно, мальчик больше не вернется».

Тем временем клиент спокойно дремлет
и видит чисто греческие сны:
с богами, с кифаредами, с борьбой

в гимнасиях, где острый запах пота
щекочет ноздри.
                         Снявшись с потолка,
большая муха, сделав круг, садится
на белую намыленную щеку
заснувшего и, утопая в пене,
как бедные пельтасты Ксенофонта
в снегах армянских, медленно ползет
через провалы, выступы, ущелья
к вершине и, минуя жерло рта,
взобраться норовит на кончик носа.

Грек открывает страшный черный глаз,
и муха, взвыв от ужаса, взлетает.

IV

Сухая послепраздничная ночь.
Флаг в подворотне, схожий с конской мордой,
жует губами воздух. Лабиринт
пустынных улиц залит лунным светом:
чудовище, должно быть, крепко спит.

Чем дальше от дворца, тем меньше статуй
и луж. С фасадов исчезает лепка.
И если дверь выходит на балкон,
она закрыта. Видимо, и здесь
ночной покой спасают только стены.
Звук собственных шагов вполне зловещ
и в то же время беззащитен; воздух
уже пронизан рыбою: дома
кончаются.
                    Но лунная дорога
струится дальше. Черная фелукка
ее пересекает, словно кошка,

и растворяется во тьме, дав знак,
что дальше, собственно, идти не стоит.

V

В расклеенном на уличных щитах
«Послании к властителям» известный,
известный местный кифаред, кипя
негодованьем, смело выступает
с призывом Императора убрать
(на следующей строчке) с медных денег.

Толпа жестикулирует. Юнцы,
седые старцы, зрелые мужчины
и знающие грамоте гетеры
единогласно утверждают, что
«такого прежде не было», — при этом
не уточняя, именно чего
«такого»:
мужества или холуйства.

Поэзия, должно быть, состоит,
в отсутствии отчетливой границы.

Невероятно синий горизонт.
Шуршание прибоя. Растянувшись,
как ящерица в марте, на сухом
горячем камне, голый человек
лущит ворованный миндаль. Поодаль
два скованных между собой раба,
собравшиеся, видно, искупаться,
смеясь, друг другу помогают снять
свое тряпье.
Невероятно жарко;
и грек сползает с камня, закатив

глаза, как две серебряные драхмы
с изображеньем новых Диоскуров.

VI

Прекрасная акустика! Строитель
недаром вшей кормил семнадцать лет
на Лемносе. Акустика прекрасна.

День тоже восхитителен. Толпа,
отлившаяся в форму стадиона,
застыв и затаив дыханье, внемлет

той ругани, которой два бойца
друг друга осыпают на арене,
чтоб, распалясь, схватиться за мечи.

Цель состязанья вовсе не в убийстве,
но в справедливой и логичной смерти.
Законы драмы переходят в спорт.

Акустика прекрасна. На трибунах
одни мужчины. Солнце золотит
кудлатых львов правительственной ложи.
Весь стадион — одно большое ухо.

«Ты падаль!» — «Сам ты падаль».
— «Мразь и падаль!»
И тут Наместник, чье лицо подобно
гноящемуся вымени, смеется.

VII
Башня

Прохладный полдень.
Теряющийся где-то в облаках

железный шпиль муниципальной башни
является в одно и то же время
громоотводом, маяком и местом
подъема государственного флага.
Внутри же — размещается тюрьма.

Подсчитано когда-то, что обычно —
в сатрапиях, во время фараонов,
у мусульман, в эпоху христианства —
сидело иль бывало казнено
примерно шесть процентов населенья.
Поэтому еще сто лет назад
дед нынешнего цезаря задумал
реформу правосудья. Отменив
безнравственный обычай смертной казни,
он с помощью особого закона
те шесть процентов сократил до двух,
обязанных сидеть в тюрьме, конечно,
пожизненно. Неважно, совершил ли
ты преступленье или невиновен;
закон, по сути дела, как налог.
Тогда-то и воздвигли эту Башню.

Слепящий блеск хромированной стали.
На сорок третьем этаже пастух,
лицо просунув сквозь иллюминатор,
свою улыбку посылает вниз
пришедшей навестить его собаке.

VIII

Фонтан, изображающий дельфина
в открытом море, совершенно сух.
Вполне понятно: каменная рыба
способна обойтись и без воды,

как та — без рыбы, сделанной из камня.
Таков вердикт третейского суда.
Чьи приговоры отличает сухость.

Под белой колоннадою дворца
на мраморных ступеньках кучка смуглых
вождей в измятых пестрых балахонах
ждет появленья своего царя,
как брошенный на скатерти букет —
заполненной водой стеклянной вазы.

Царь появляется. Вожди встают
и потрясают копьями. Улыбки,
объятья, поцелуи. Царь слегка
смущен; но вот удобство смуглой кожи:
на ней не так видны кровоподтеки.

Бродяга-грек зовет к себе мальца.
«О чем они болтают?» — «Кто, вот эти?»
«Ага». — «Благодарят его». — «За что?»
Мальчишка поднимает ясный взгляд:
«За новые законы против нищих».

IX
Зверинец

Решетка, отделяющая льва
от публики, в чугунном варианте
воспроизводит путаницу джунглей.

Мох. Капли металлической росы.
Лиана, оплетающая лотос.

Природа имитируется с той
любовью, на которую способен

лишь человек, которому не все
равно, где заблудиться: в чаще или
в пустыне.

X
Император

Атлет-легионер в блестящих латах,
несущий стражу возле белой двери,
из-за которой слышится журчанье,
глядит в окно на проходящих женщин.
Ему, торчащему здесь битый час,
уже казаться начинает, будто
не разные красавицы внизу
проходят мимо, но одна и та же.

Большая золотая буква М,
украсившая дверь, по сути дела,
лишь прописная по сравненью с той,
огромной и пунцовой от натуги,
согнувшейся за дверью над проточной
водою, дабы рассмотреть во всех
подробностях свое отображенье.

В конце концов, проточная вода
ничуть не хуже скульпторов, все царство
изображеньем этим наводнивших.

Прозрачная, журчащая струя.
Огромный, перевернутый Везувий,
над ней нависнув, медлит с изверженьем.

Все вообще теперь идет со скрипом.
Империя похожа на трирему
в канале, для триремы слишком узком.

Гребцы колотят веслами по суше,
и камни сильно обдирают борт.
Нет, не сказать, чтоб мы совсем застряли!
Движенье есть, движенье происходит.
Мы все-таки плывем. И нас никто
не обгоняет. Но, увы, как мало
похоже это на былую скорость!
И как тут не вздохнешь о временах,
когда все шло довольно гладко.
Гладко.

XI

Светильник гаснет, и фитиль чадит
уже в потемках. Тоненькая струйка
всплывает к потолку, чья белизна
в кромешном мраке в первую минуту
согласна на любую форму света.
Пусть даже копоть.
За окном всю ночь
в неполотом саду шумит тяжелый
азийский ливень. Но рассудок — сух.
Настолько сух, что, будучи охвачен
холодным бледным пламенем объятья,
воспламеняешься быстрей, чем лист
бумаги или старый хворост.

Но потолок не видит этой вспышки.

Ни копоти, ни пепла по себе
не оставляя, человек выходит
в сырую темень и бредет к калитке.
Но серебристый голос козодоя
велит ему вернуться.
Под дождем

он, повинуясь, снова входит в кухню
и, снявши пояс, высыпает на
железный стол оставшиеся драхмы.
Затем выходит.
Птица не кричит.

XII

Задумав перейти границу, грек
достал вместительный мешок и после
в кварталах возле рынка изловил
двенадцать кошек (почерней) и с этим
скребущимся, мяукающим грузом
он прибыл ночью в пограничный лес.

Луна светила, как она всегда
в июле светит. Псы сторожевые,
конечно, заливали все ущелье
тоскливым лаем: кошки перестали
в мешке скандалить и почти притихли.
И грек промолвил тихо: «В добрый час.

Афина, не оставь меня. Ступай
передо мной», — а про себя добавил:
«На эту часть границы я кладу
всего шесть кошек. Ни одною больше».
Собака не взберется на сосну.
Что до солдат — солдаты суеверны.

Все вышло лучшим образом. Луна,
собаки, кошки, суеверье, сосны —
весь механизм сработал. Он взобрался
на перевал. Но в миг, когда уже
одной ногой стоял в другой державе,
он обнаружил то, что упустил:

оборотившись, он увидел море.

Оно лежало далеко внизу.
В отличье от животных, человек
уйти способен от того, что любит
(чтоб только отличиться от животных!).
Но, как слюна собачья, выдают
его животную природу слезы:

«О Талласса!..»
Но в этом скверном мире
нельзя торчать так долго на виду,
на перевале, в лунном свете, если
не хочешь стать мишенью. Вскинув ношу,
он осторожно стал спускаться вниз,
в глубь континента; и вставал навстречу

еловый гребень вместо горизонта.

1970

ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА:

Перевод заглавия: ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ.

Диоскуры — Кастор и Поллукс (Кастор и Полидевк), в греческой мифологии символ нерасторжимой дружбы. Их изображение помещалось на греческих монетах. Греки классического периода считали богохульством чеканить изображения государей; изображались только боги или их символы; также — мифологические персонажи.

Лемнос — остров в Эгейском море, служил и служит местом ссылки.

Верзувий — от славянского «верзать».

Талласса — море *(греч.)*.

БАБОЧКА

I

Сказать, что ты мертва?
Но ты жила лишь сутки.
Как много грусти в шутке
Творца! едва
могу произнести
«жила» — единство даты
рожденья и когда ты
в моей горсти
рассыпалась, меня
смущает вычесть
одно из двух количеств
в пределах дня.

II

Затем, что дни для нас —
ничто. Всего лишь
ничто. Их не приколешь,
и пищей глаз
не сделаешь: они
на фоне белом,
не обладая телом,
незримы. Дни,
они как ты; верней,
что может весить

уменьшенный раз в десять
один из дней?

III

Сказать, что вовсе нет
тебя? Но что же
в руке моей так схоже
с тобой? и цвет —
не плод небытия.
По чьей подсказке
и так кладутся краски?
Навряд ли я,
бормочущий комок
слов, чуждых цвету,
вообразить бы эту
палитру смог.

IV

На крылышках твоих
зрачки, ресницы —
красавицы ли, птицы —
обрывки чьих,
скажи мне, это лиц
портрет летучий?
Каких, скажи, твой случай
частиц, крупиц
являет натюрморт:
вещей, плодов ли?
и даже рыбной ловли
трофей простерт.

V

Возможно, ты — пейзаж,
и, взявши лупу,
я обнаружу группу
нимф, пляску, пляж.
Светло ли там, как днем?
иль там уныло,
как ночью? и светило
какое в нем
взошло на небосклон?
чьи в нем фигуры?
Скажи, с какой натуры
был сделан он?

VI

Я думаю, что ты —
и то и это:
звезды, лица, предмета
в тебе черты.
Кто был тот ювелир,
что, бровь не хмуря,
нанес в миниатюре
на них тот мир,
что сводит нас с ума,
берет нас в клещи,
где ты, как мысль о вещи,
мы — вещь сама?

VII

Скажи, зачем узор
такой был даден

тебе всего лишь на день
в краю озер,
чья амальгама впрок
хранит пространство?
А ты — лишает шанса
столь краткий срок
попасть в сачок,
затрепетать в ладони,
в момент погони
пленить зрачок.

VIII

Ты не ответишь мне
не по причине
застенчивости и не
со зла, и не
затем, что ты мертва.
Жива, мертва ли —
но каждой Божьей твари
как знак родства
дарован голос для
общенья, пенья:
продления мгновенья,
минуты, дня.

IX

А ты — ты лишена
сего залога.
Но, рассуждая строго,
так лучше: на
кой ляд быть у небес
в долгу, в реестре.

Не сокрушайся ж, если
твой век, твой вес
достойны немоты:
звук — тоже бремя.
Бесплотнее, чем время,
беззвучней ты.

X

Не ощущая, не
дожив до страха,
ты вьешься легче праха
над клумбой, вне
похожих на тюрьму
с ее удушьем
минувшего с грядущим,
и потому,
когда летишь на луг
желая корму,
приобретает форму
сам воздух вдруг.

XI

Так делает перо,
скользя по глади
расчерченной тетради,
не зная про
судьбу своей строки,
где мудрость, ересь
смешались, но доверясь
толчкам руки,

в чьих пальцах бьется речь
вполне немая,
не пыль с цветка снимая,
но тяжесть с плеч.

XII

Такая красота
и срок столь краткий,
соединясь, догадкой
кривят уста:
не высказать ясней,
что в самом деле
мир создан был без цели,
а если с ней,
то цель — не мы.
Друг-энтомолог,
для света нет иголок
и нет для тьмы.

XIII

Сказать тебе «Прощай»
как форме суток?
Есть люди, чей рассудок
стрижет лишай
забвенья; но взгляни:
тому виною
лишь то, что за спиною
у них не дни
с постелью на двоих,
не сны дремучи,
не прошлое — но тучи
сестер твоих!

XIV

Ты лучше, чем Ничто.
Верней: ты ближе
и зримее. Внутри же
на все на сто
ты родственна ему.
В твоем полете
оно достигло плоти;
и потому
ты в сутолке дневной
достойна взгляда
как легкая преграда
меж ним и мной.

1972

ЛИТОВСКИЙ НОКТЮРН: ТОМАСУ ВЕНЦЛОВА

I

Взбаламутивший море
ветер рвется, как ругань с расквашенных губ,
в глубь холодной державы,
заурядное до-ре-
ми-фа-соль-ля-си-до извлекая из каменных труб.
Не-царевны-не-жабы
припадают к земле,
и сверкает звезды оловянная гривна.
И подобье лица
растекается в черном стекле,
как пощечина ливня.

II

Здравствуй, Томас. То — мой
призрак, бросивший тело в гостинице где-то
за морями, гребя
против северных туч, поспешает домой,
вырываясь из Нового Света,
и тревожит тебя.

III

Поздний вечер в Литве.
Из костелов бредут, хороня запятые

свечек в скобках ладоней. В продрогших дворах
куры роются клювами в жухлой дресве.
Над жнивьем Жемайтии
вьется снег, как небесных обителей прах.
Из раскрытых дверей
пахнет рыбой. Малец полуголый
и старуха в платке загоняют корову в сарай.
Запоздалый еврей
по брусчатке местечка гремит балаголой,
вожжи рвет
и кричит залихватски: «Герай!»

IV

Извини за вторженье.
Сочти появление за
возвращенье цитаты в ряды «Манифеста»:
чуть картавей,
чуть выше октавой от странствий вдали.
Потому — не крестись,
не ломай в кулаке картуза:
сгину прежде, чем грянет с насеста
петушиное «пли».
Извини, что без спросу.
Не пяться от страха в чулан:
то, кордонов за счет, расширяет свой радиус
бренность.
Мстя, как камень колодцу кольцом грязевым
над балтийской волной
я жужжу, точно тот моноплан —
точно Дариус и Гиренас,
но не так уязвим.

V

Поздний вечер в Империи,
в нищей провинции.
Вброд
перешедшее Неман еловое войско,
ощетинившись пиками, Ковно в потемки берет.
Багровеет известка
трехэтажных домов, и булыжник мерцает, как
пойманный лещ.
Вверх взвивается занавес в местном театре.
И выносят на улицу главную вещь,
разделенную на три
без остатка;
сквозняк теребит бахрому
занавески из тюля. Звезда в захолустье
светит ярче: как карта, упавшая в масть.
И впадает во тьму,
по стеклу барабаня, руки твоей устье.
Больше некуда впасть.

VI

В полночь всякая речь
обретает ухватки слепца;
так что даже «отчизна» на ощупь — как Леди Годива.
В паутине углов
микрофоны спецслужбы в квартире певца
пишут скрежет матраца и всплески мотива
общей песни без слов.
Здесь панует стыдливость. Листва, норовя
выбрать между своей лицевой стороной и изнанкой,
возмущает фонарь. Отменив рупора,
миру здесь о себе возвещают, на муравья

наступив ненароком, невнятной морзянкой
пульса, скрипом пера.

VII

Вот откуда твои
щек мучнистость, безадресность глаза,
шепелявость и волосы цвета спитой,
тусклой чайной струи.
Вот откуда вся жизнь как нетвердая честная фраза
на пути к запятой.
Вот откуда моей,
как ее продолжение вверх, оболочки
в твоих стеклах расплывчатость, бунт голытьбы
ивняка и т. п., очертанья морей,
их страниц перевернутость в поисках точки,
горизонта, судьбы.

VIII

Наша письменность, Томас! с моим, за поля
выходящим сказуемым! с хмурым твоим
домоседством
подлежащего! Прочный, чернильный союз,
кружева, вензеля,
помесь литеры римской с кириллицей: цели
со средством,
как велел Макроус!
Наши оттиски! в смятых сырых простынях —
этих рыхлых извилинах общего мозга! —
в мягкой глине возлюбленных, в детях без нас.
Либо — просто синяк
на скуле мирозданья от взгляда подростка,
от попытки на глаз

расстоянье прикинуть от той ли литовской корчмы
до лица, многооко смотрящего мимо,
как раскосый монгол за земной частокол,
чтоб вложить пальцы в рот — в эту рану Фомы —
и, нащупав язык, на манер серафима
переправить глагол.

IX

Мы похожи;
мы, в сущности, Томас, одно:
ты, коптящий окно изнутри, я, смотрящий снаружи.
Друг для друга мы суть
обоюдное дно
амальгамовой лужи,
неспособной блеснуть.
Покривись — я отвечу ухмылкой кривой,
отзовусь на зевок немотой, раздирающей полость,
разольюсь в три ручья
от стоваттной слезы над твоей головой.
Мы — взаимный конвой,
проступающий в Касторе Поллукс,
в просторечье — ничья,
пат, подвижная тень,
приводимая в действие жаркой лучиной,
эхо возгласа, сдача с рубля.
Чем сильней жизнь испорчена, тем
мы в ней неразличимей
ока праздного для.

X

Чем питается призрак? Отбросами сна,
отрубями границ, шелухою цифири:

явь всегда норовит сохранить адреса.
Переулок сдвигает фасады, как зубы десна,
желтизну подворотни, как сыр простофили,
пожирает лиса
темноты. Место, времени мстя
за свое постоянство жильцом, постояльцем,
жизнью в нем, отпирает засов, —
и эпоху спустя
я тебя застаю в замусоленной пальцем
сверхдержаве лесов
и равнин хорошо сохраняющей мысли, черты
и особенно позу: в сырой конопляной
многоверстной рубахе, в гудящих стальных бигуди
Мать-Литва засыпает над плесом,
и ты
припадаешь к ее неприкрытой, стеклянной,
пол-литровой груди.

XI

Существуют места,
где ничто не меняется. Это —
заменители памяти, кислый триумф фиксажа.
Там шлагбаумы на резкость наводит верста.
Там чем дальше, тем больше в тебе силуэта.
Там с лица сторожа
моложавей. Минувшее смотрит вперед
настороженным глазом подростка в шинели,
и судьба нарушителем пятится прочь
в настоящую старость с плевком на стене,
с ломотой с бесконечностью в форме панели
либо лестницы. Ночь
и взаправду граница, где, как татарва,
территориям прожитой жизни набегом

угрожает действительность и, наоборот,
где дрова переходят в деревья и снова в дрова,
где что веко ни спрячет,
то явь печенегом
как трофей подберет.

XII

Полночь. Сойка кричит
человеческим голосом и обвиняет природу
в преступленьях термометра против нуля.
Витовт, бросивший меч и похеривший щит,
погружается в Балтику в поисках броду
к шведам. Впрочем, земля
и сама завершается молом, погнавшимся за,
как по плоским ступенькам, по волнам
убежавшей свободой.
Усилья бобра
по постройке запруды венчает слеза,
расставаясь с проворным
ручейком серебра.

XIII

Полночь в лиственном крае,
в губернии цвета пальто.
Колокольная клинопись. Облако в виде отреза
на рядно сопредельной державе.
Внизу
пашни, скирды, плато
черепицы, кирпич, колоннада, железо,
плюс обутый в кирзу
человек государства.
Ночной кислород

наводняют помехи, молитва, сообщенья
о погоде, известия,
храбрый Кощей
с округленными цифрами, гимны, фокстрот,
болеро, запрещенья
безымянных вещей.

XIV

Призрак бродит по Каунасу. Входит в собор,
выбегает наружу. Плетется по Лайсвис-аллее.
Входит в «Тюльпе», садится к столу.
Кельнер, глядя в упор,
видит только салфетки, огни бакалеи,
снег, такси на углу;
просто улицу. Бьюсь об заклад,
ты готов позавидовать. Ибо незримость
входит в моду с годами — как тела уступка душе,
как намек на грядущее, как маскхалат
Рая, как затянувшийся минус.
Ибо все в барыше
от отсутствия, от
бестелесности: горы и долы,
медный маятник, сильно привыкший к часам,
Бог, смотрящий на все это дело с высот,
зеркала, коридоры,
соглядатай, ты сам.

XV

Призрак бродит бесцельно по Каунасу. Он
суть твое прибавление к воздуху мысли
обо мне,
суть пространство в квадрате, а не

энергичная проповедь лучших времен.
Не завидуй. Причисли
привиденье к родне,
к свойствам воздуха — так же, как мелкий петит,
рассыпаемый в сумраке речью картавой
вроде цокота мух,
неспособный, поди, утолить аппетит
новой Клио, одетой заставой,
но ласкающий слух
обнаженной Урании.
Только она,
Муза точки в пространстве и Муза утраты
очертаний, как скаред — гроши,
в состоянье сполна
оценить постоянство: как форму расплаты
за движенье — души.

XVI

Вот откуда пера,
Томас, к буквам привязанность.
Вот чем
объясняться должно тяготенье, не так ли?
Скрепя
сердце, с хриплым «пора!»
отрывая себя от родных заболоченных вотчин,
что скрывать — от тебя!
от страницы, от букв,
от — сказать ли! — любви
звука к смыслу, бесплотности — к массе
и свободы — прости
и лица не криви —
к рабству, данному в мясе,
во плоти, на кости,
эта вещь воспаряет в чернильный ночной эмпирей

мимо дремлющих в нише
местных ангелов:
выше
их и нетопырей.

XVII

Муза точки в пространстве! Вещей, различаемых
лишь
в телескоп! Вычитанья
без остатка! Нуля!
Ты, кто горлу велишь
избегать причитанья,
превышения «ля»
и советуешь сдержанность! Муза, прими
эту арию следствия, петую в ухо причине,
то есть песнь двойнику,
и взгляни на нее и ее до-ре-ми
там, в разреженном чине,
у себя наверху
с точки зрения воздуха.
Воздух и есть эпилог
для сетчатки — поскольку он необитаем.
Он суть наше «домой»,
восвояси вернувшийся слог.
Сколько жаброй его ни хватаем,
он успешно латаем
светом взапуски с тьмой.

XVIII

У всего есть предел:
горизонт — у зрачка, у отчаянья — память,
для роста —

расширение плеч.
Только звук отделяться способен от тел,
вроде призрака, Томас.
Сиротство
звука, Томас, есть речь!
Оттолкнув абажур,
глядя прямо перед собою,
видишь воздух:
анфас
сонмы тех, кто губою
наследил в нем
до нас.

XIX

В царстве воздуха! В равенстве слога глотку
кислорода! В прозрачных и в сбившихся в облак
наших выдохах! В том
мире, где, точно сны к потолку,
к небу льнут наши «о!», где звезда обретает свой
облик,
продиктованный ртом!
Вот чем дышит вселенная. Вот
что петух кукарекал,
упреждая гортани великую сушь!
Воздух — вещь языка.
Небосвод —
хор согласных и гласных молекул,
в просторечии — душ.

XX

Оттого-то он чист.
Нет на свете вещей, безупречней

(кроме смерти самой)
отбеляющих лист.
Чем белее, тем бесчеловечней.
Муза, можно домой?
Восвояси! В тот край,
где бездумный Борей попирает беспечно трофеи
уст. В грамматику без
препинания. В рай
алфавита, трахеи!
В твой безликий ликбез.

XXI

Над холмами Литвы
что-то вроде мольбы за весь мир
раздается в потемках: бубнящий, глухой, невеселый
звук плывет над селеньями в сторону Куршской
косы.
То Святой Казимир
с Чудотворным Николой
коротают часы
в ожидании зимней зари.
За пределами веры,
из своей стратосферы,
Муза, с ними призри
на певца тех равнин, в рукотворную тьму
погруженных по кровлю,
на певца усмиренных пейзажей.
Обнеси своей стражей
дом и сердце ему.

1973[1]

---

[1] В период составления второго тома «Сочинений» (первое издание) И. Бродский датировал это стихотворение 1973 годом. Здесь оно приводится в редакции, опубликованной автором в 1984 году.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ТРЕСКОВОГО МЫСА

А.Б.

I

Восточный конец Империи погружается в ночь.
Цикады
умолкают в траве газонов. Классические цитаты
на фронтонах неразличимы. Шпиль с крестом
безучастно
чернеет, словно бутылка, забытая на столе.
Из патрульной машины, лоснящейся на пустыре,
звякают клавиши Рэя Чарлза.

Выползая из недр океана, краб на пустынном пляже
зарывается в мокрый песок с кольцами мыльной
пряжи,
дабы остынуть, и засыпает. Часы на кирпичной башне
лязгают ножницами. Пот катится по лицу.
Фонари в конце улицы точно пуговицы у
расстегнутой на груди рубашки.

Духота. Светофор мигает, глаз превращая в средство
передвиженья по комнате к тумбочке с виски. Сердце
замирает на время, но все-таки бьется: кровь,
поблуждав по артериям, возвращается к перекрестку.
Тело похоже на свернутую в рулон трехверстку,
и на севере поднимают бровь.

Странно думать, что выжил, но это случилось. Пыль
покрывает квадратные вещи. Проезжающий
автомобиль

продлевает пространство за угол, мстя Эвклиду.
Темнота извиняет отсутствие лиц, голосов и проч.,
превращая их не столько в бежавших прочь,
как в пропавших из виду.

Духота. Сильный шорох набрякших листьев, от
какового еще сильней выступает пот.
То, что кажется точкой во тьме, может быть лишь
одним — звездою.
Птица, утратившая гнездо, яйцо
на пустой баскетбольной площадке кладет в кольцо.
Пахнет мятой и резедою.

II

Как бессчетным женам гарема всесильный Шах
изменить может только с другим гаремом,
я сменил империю. Этот шаг
продиктован был тем, что несло горелым
с четырех сторон — хоть живот крести;
с точки зренья ворон, с пяти.

Дуя в полую дудку, что твой факир,
я прошел сквозь строй янычар в зеленом,
чуя яйцами холод их злых секир,
как при входе в воду. И вот, с соленым
вкусом этой воды во рту,
я пересек черту

и поплыл сквозь баранину туч. Внизу
извивались реки, пылили дороги, желтели риги.
Супротив друг друга стояли, топча росу,
точно длинные строчки еще не закрытой книги,
армии, занятые игрой,
и чернели икрой

города. А после сгустился мрак.
Все погасло. Гудела турбина, и ныло темя.
И пространство пятилось, точно рак,
пропуская время вперед. И время
шло на запад, точно к себе домой,
выпачкав платье тьмой.

Я заснул. Когда я открыл глаза,
север был там, где у пчелки жало.
Я увидел новые небеса
и такую же землю. Она лежала,
как это делает отродясь
плоская вещь: пылясь.

III

Одиночество учит сути вещей, ибо суть их тоже
одиночество. Кожа спины благодарна коже
спинки кресла за чувство прохлады. Вдали рука на
подлокотнике деревенеет. Дубовый лоск
покрывает костяшки суставов. Мозг
бьется, как льдинка о край стакана.

Духота. На ступеньках закрытой бильярдной некто
вырывает из мрака свое лицо пожилого негра,
чиркая спичкой. Белозубая колоннада
Окружного Суда, выходящая на бульвар,
в ожидании вспышки случайных фар
утопает в пышной листве. И надо

всем пылают во тьме, как на празднике Валтасара,
письмена «Кока-Колы». В заросшем саду курзала
тихо журчит фонтан. Изредка вялый бриз,
не сумевши извлечь из прутьев простой рулады,
шебаршит газетой в литье ограды,
сооруженной, бесспорно, из

спинок старых кроватей. Духота. Опирающийся
на ружье,
Неизвестный Союзный Солдат делается еще
более неизвестным. Траулер трется ржавой
переносицей о бетонный причал. Жужжа,
вентилятор хватает горячий воздух США
металлической жаброй.

Как число в уме, на песке оставляя след,
океан громоздится во тьме, миллионы лет
мертвой зыбью баюкая щепку. И если резко
шагнуть с дебаркадера вбок, вовне,
будешь долго падать, руки по швам; но не
воспоследует всплеска.

IV

Перемена империи связана с гулом слов,
с выделеньем слюны в результате речи,
с лобачевской суммой чужих углов,
с возрастанием исподволь шансов встречи
параллельных линий (обычной на
полюсе). И она,

перемена, связана с колкой дров,
с превращеньем мятой сырой изнанки
жизни в сухой платяной покров
(в стужу — из твида, в жару — из нанки),
с затвердевающим под орех
мозгом. Вообще из всех

внутренностей только одни глаза
сохраняют свою студенистость. Ибо
перемена империи связана с взглядом за
море (затем что внутри нас рыба

дремлет), с фактом, что ваш пробор,
как при взгляде в упор

в зеркало, влево сместился... С больной десной
и с изжогой, вызванной новой пищей.
С сильной матовой белизной
в мыслях — суть отраженьем писчей
гладкой бумаги. И здесь перо
рвется поведать про

сходство. Ибо у вас в руках
то же перо, что и прежде. В рощах
те же растения. В облаках
тот же гудящий бомбардировщик,
летящий неведомо что бомбить.
И сильно хочется пить.

V

В городках Новой Англии, точно вышедших
из прибоя,
вдоль всего побережья, поблескивая рябою
чешуей черепицы и дранки, уснувшими косяками
стоят в темноте дома, угодивши в сеть
континента, который открыли сельдь
и треска. Ни треска, ни

сельдь, однако же, тут не сподобились гордых статуй,
невзирая на то, что было бы проще с датой.
Что касается местного флага, то он украшен
тоже не ими и в темноте похож,
как сказал бы Салливен, на чертеж
в тучи задранных башен.

Духота. Человек на веранде с обмотанным
полотенцем
горлом. Ночной мотылек всем незавидным тельцем,
ударяясь в железную сетку, отскакивает, точно пуля,
посланная природой из невидимого куста
в самое себя, чтоб выбить одно из ста
в середине июля.

Потому что часы продолжают идти непрерывно, боль
затухает с годами. Если время играет роль
панацеи, то в силу того, что не терпит спешки,
ставши формой бессонницы: пробираясь пешком
и вплавь,
в полушарье орла сны содержат дурную явь
полушария решки.

Духота. Неподвижность огромных растений,
далекий лай.
Голова, покачнувшись, удерживает на край
памяти сползшие номера телефонов, лица.
В настоящих трагедиях, где занавес — часть плаща,
умирает не гордый герой, но, по швам треща
от износу, кулиса.

VI

Потому что поздно сказать «прощай»
и услышать что-либо в ответ, помимо
эха, звучащего как «на чай»
времени и пространству, мнимо
величавым и возводящим в куб
все, что сорвется с губ,

я пишу эти строки, стремясь рукой,
их выводящей почти вслепую,

на секунду опередить «на кой?»,
с оных готовое губ в любую
минуту слететь и поплыть сквозь ночь,
увеличиваясь и проч.

Я пишу из Империи, чьи края
опускаются под воду. Снявши пробу с
двух океанов и континентов, я
чувствую то же почти, что глобус.
То есть дальше некуда. Дальше — ряд
звезд. И они горят.

Лучше взглянуть в телескоп туда,
где присохла к изнанке листа улитка.
Говоря «бесконечность», в виду всегда
я имел искусство деленья литра
без остатка на три при свете звезд,
а не избыток верст.

Ночь. В парвеноне хрипит «ку-ку».
Легионы спят, прислонясь к когортам,
форумы — к циркам. Луна вверху,
как пропавший мяч над безлюдным кортом.
Голый паркет — как мечта ферзя.
Без мебели жить нельзя.

VII

Только затканный сплошь паутиной угол имеет право
именоваться прямым. Только услышав «браво»,
с полу встает актер. Только найдя опору,
тело способно поднять вселенную на рога.
Только то тело движется, чья нога
перпендикулярна полу.

Духота. Толчея тараканов в амфитеатре тусклой
цинковой раковины перед бесцветной тушей
высохшей губки. Поворачивая корону,
медный кран, словно цезарево чело,
низвергает на них не щадящую ничего
водяную колонну.

Пузырьки на стенках стакана похожи на слезы сыра.
Несомненно, прозрачной вещи присуща сила
тяготения вниз, как и плотной инертной массе.
Даже девять восемьдесят одна, журча,
преломляет себя на манер луча
в человеческом мясе.

Только груда белых тарелок выглядит на плите,
как упавшая пагода в профиль. И только те
вещи чтимы пространством, чьи черты повторимы:
розы.
Если видишь одну, видишь немедля две:
насекомые ползают, в алой жужжа ботве, —
пчелы, осы, стрекозы.

Духота. Даже тень на стене, уж на что слаба,
повторяет движенье руки, утирающей пот со лба.
Запах старого тела острей, чем его очертанья.
Трезвость
мысли снижается. Мозг в суповой кости
тает. И некому навести
взгляда на резкость.

VIII

Сохрани на холодные времена
эти слова, на времена тревоги!
Человек выживает, как фиш на песке: она
уползает в кусты и, встав на кривые ноги,

уходит, как от пера — строка,
в недра материка.

Есть крылатые львы, женогрудые сфинксы. Плюс
ангелы в белом и нимфы моря.
Для того, на чьи плечи ложится груз
темноты, жары и — сказать ли — горя,
они разбегающихся милей
от брошенных слов нулей.

Даже то пространство, где негде сесть,
как звезда в эфире, приходит в ветхость.
Но пока существует обувь, есть
то, где можно стоять, поверхность,
суша. И внемлют ее пески
тихой песне трески:

«Время больше пространства. Пространство — вещь.
Время же, в сущности, мысль о вещи.
Жизнь — форма времени. Карп и лещ —
сгустки его. И товар похлеще —
сгустки. Включая волну и твердь
суши. Включая смерть.

Иногда в том хаосе, в свалке дней,
возникает звук, раздается слово.
То ли „любить", то ли просто „эй".
Но пока разобрать успеваю, снова
все сменяется рябью слепых полос,
как от твоих волос».

IX

Человек размышляет о собственной жизни, как
ночь о лампе.
Мысль выходит в определенный момент за рамки

одного из двух полушарий мозга
и сползает, как одеяло, прочь,
обнажая неведомо что, точно локоть; ночь,
безусловно, громоздка,

но не столь бесконечна, чтоб точно хватить на оба.
Понемногу африка мозга, его европа,
азия мозга, а также другие капли
в обитаемом море, осью скрипя сухой,
обращаются мятой своей щекой
к электрической цапле.

Чу, смотри: Аладдин произносит «сезам» — перед
ним золотая груда,
Цезарь бродит по спящему форуму, кличет Брута,
соловей говорит о любви богдыхану в беседке; в круге
лампы дева качает ногой колыбель; нагой
папуас отбивает одной ногой
на песке буги-вуги.

Духота. Так спросонья озябшим коленом пиная мрак,
понимаешь внезапно в постели, что это — брак:
что за тридевять с лишним земель повернулось на бок
тело, с которым давным-давно
только и общего есть, что дно
океана и навык

наготы. Но при этом — не встать вдвоем.
Потому что пока там — светло, в твоем
полушарье темно. Так сказать, одного светила
не хватает для двух заурядных тел.
То есть глобус склеен, как Бог хотел.
И его не хватило.

X

Опуская веки, я вижу край
ткани и локоть в момент изгиба.
Местность, где я нахожусь, есть рай,
ибо рай — это место бессилья. Ибо
это одна из таких планет,
где перспективы нет.

Тронь своим пальцем конец пера,
угол стола: ты увидишь, это
вызовет боль. Там, где вещь остра,
там и находится рай предмета;
рай, достижимый при жизни лишь
тем, что вещь не продлишь.

Местность, где я нахожусь, есть пик
как бы горы. Дальше — воздух, Хронос.
Сохрани эту речь; ибо рай — тупик.
Мыс, вдающийся в море. Конус.
Нос железного корабля.
Но не крикнуть «Земля!».

Можно сказать лишь, который час.
Это сказав, за движеньем стрелки
тут остается следить. И глаз
тонет беззвучно в лице тарелки,
ибо часы, чтоб в раю уют
не нарушать, не бьют.

То, чего нету, умножь на два:
в сумме получишь идею места.
Впрочем, поскольку они — слова,
цифры тут значат не больше жеста,
в воздухе тающего без следа,
словно кусочек льда.

XI

От великих вещей остаются слова языка, свобода
в очертаньях деревьев, цепкие цифры года;
также — тело в виду океана в бумажной шляпе.
Как хорошее зеркало, тело стоит во тьме:
на его лице, у него в уме
ничего, кроме ряби.

Состоя из любви, грязных снов, страха смерти, праха,
осязая хрупкость кости, уязвимость паха,
тело служит в виду океана цедящей семя
крайней плотью пространства: слезой скулу серебря,
человек есть конец самого себя
и вдается во Время.

Восточный конец Империи погружается в ночь —
по горло.
Пара раковин внемлет улиткам его глагола:
то есть слышит свой собственный голос. Это
развивает связки, но гасит взгляд.
Ибо в чистом времени нет преград,
порождающих эхо.

Духота. Только если, вздохнувши, лечь
на спину, можно направить сухую речь
вверх — в направленье исконно немых губерний.
Только мысль о себе и о большой стране
вас бросает в ночи от стены к стене,
на манер колыбельной.

Спи спокойно поэтому. Спи. В этом смысле — спи.
Спи, как спят только те, кто сделал свое пи-пи.
Страны путают карты, привыкнув к чужим широтам.
И не спрашивай, если скрипнет дверь,
«Кто там?» — и никогда не верь
отвечающим, кто там.

XII

Дверь скрипит. На пороге стоит треска.
Просит пить, естественно, ради Бога.
Не отпустишь прохожего без куска.
И дорогу покажешь ему. Дорога
извивается. Рыба уходит прочь.
Но другая, точь-в-точь

как ушедшая, пробует дверь носком.
(Меж собой две рыбы что два стакана.)
И всю ночь идут они косяком.
Но живущий около океана
знает, как спать, приглушив в ушах
мерный тресковый шаг.

Спи. Земля не кругла. Она
просто длинна: бугорки, лощины.
А длинней земли — океан: волна
набегает порой, как на лоб морщины,
на песок. А земли и волны длинней
лишь вереница дней.

И ночей. А дальше — туман густой:
рай, где есть ангелы, ад, где черти.
Но длинней стократ вереницы той
мысли о жизни и мысль о смерти.
Этой последней длинней в сто раз
мысль о Ничто; но глаз

вряд ли проникнет туда и сам
закрывается, чтобы увидеть вещи.
Только так — во сне — и дано глазам
к вещи привыкнуть. И сны те вещи
или зловещи — смотря кто спит.
И дверью треска скрипит.

1975

НОВЫЙ ЖЮЛЬ ВЕРН

Л. и Н. Лифшиц

I

Безупречная линия горизонта, без какого-либо изъяна.
Корвет разрезает волны профилем Франца Листа.
Поскрипывают канаты. Голая обезьяна
с криком выскакивает из кабины натуралиста.

Рядом плывут дельфины. Как однажды заметил
кто-то,
только бутылки в баре хорошо переносят качку.
Ветер относит в сторону окончание анекдота,
и капитан бросается с кулаками на мачту.

Порой из кают-компании раздаются аккорды
последней вещицы Брамса.
Штурман играет циркулем, задумавшись над прямою
линией курса. И в подзорной трубе пространство
впереди быстро смешивается с оставшимся за кормою.

II

Пассажир отличается от матроса
шорохом шелкового белья,
условиями питания и жилья,
повтореньем какого-нибудь бессмысленного вопроса.

Матрос отличается от лейтенанта
отсутствием эполет,

количеством лет,
нервами, перекрученными на манер каната.

Лейтенант отличается от капитана
нашивками, выраженьем глаз,
фотокарточкой Бланш или Франсуаз,
чтением «Критики чистого разума», Мопассана
и «Капитала».

Капитан отличается от Адмиралтейства
одинокими мыслями о себе,
отвращением к синеве,
воспоминаньем о длинном уик-энде, проведенном
в именье тестя.

И только корабль не отличается от корабля.
Переваливаясь на волнах, корабль
выглядит одновременно как дерево и журавль,
из-под ног у которых ушла земля.

III
Разговор в кают-компании

«Конечно, эрцгерцог монстр! но как следует
разобраться
— нельзя не признать за ним некоторых заслуг...»
«Рабы обсуждают господ. Господа обсуждают
рабство.
Какой-то порочный круг!» «Нет, спасательный круг!»

«Восхитительный херес!» «Я всю ночь не могла
уснуть.
Это жуткое солнце: я сожгла себе плечи».
«...а если открылась течь? я читал, что бывают течи.
Представьте себе, что открылась течь и мы стали
тонуть!

Вам случалось тонуть, лейтенант?» «Никогда.
Но акула меня кусала».
«Да? любопытно... Но представьте, что — течь...
И представьте себе...»
«Что ж, может, это заставит подняться на палубу
даму в 12-б».
«Кто она?» «Это дочь генерал-губернатора,
плывущая в Кюрасао».

IV
Разговоры на палубе

«Я, профессор, тоже в молодости мечтал
открыть какой-нибудь остров, зверушку или бациллу».
«И что же вам помешало?» «Наука мне не под силу.
И потом — тити-мити». «Простите?» «Э-э...
презренный металл».

«Человек, он есть кто?! Он — вообще — комар!»
«А скажите, месье, в России у вас, что́ — тоже
есть резина?»
«Вольдемар, перестаньте! Вы кусаетесь, Вольдемар!
Не забывайте, что я...» «Простите меня, кузина».

«Слышишь, кореш?» «Чего?» «Чего это там вдали?»
«Где?» «Да справа по борту». «Не вижу». «Вон там».
«Ах, это...
Вроде бы кит. Завернуть не найдется?»
«Не-а, одна газета...
Но Оно увеличивается! Смотри!.. Оно увели...»

V

Море гораздо разнообразней суши.
Интереснее, чем что-либо.

Изнутри, как и снаружи. Рыба
интереснее груши.

На земле существуют четыре стены и крыша.
Мы боимся волка или медведя.
Медведя, однако, меньше и зовем его «Миша».
А если хватает воображенья — «Федя».

Ничего подобного не происходит в море.
Кита в его первозданном, диком
виде не трогает имя Бори.
Лучше звать его Диком.

Море полно сюрпризов, некоторые неприятны.
Многим из них не отыскать причины;
ни свалить на Луну, перечисляя пятна,
ни на злую волю женщины или мужчины.

Кровь у жителей моря холодней, чем у нас;
их жуткий
вид леденит нашу кровь даже в рыбной лавке.
Если б Дарвин туда нырнул, мы б не знали
«закона джунглей»
либо — внесли бы в оный свои поправки.

VI

«Капитан, в этих местах затонул „Черный Принц"
при невыясненных обстоятельствах». «Штурман Бенц!
Ступайте в свою каюту и хорошенько проспитесь».
«В этих местах затонул также русский „Витязь"».
«Штурман Бенц! Вы думаете, что я
шучу?» «При невыясненных обстоя...»

Неукоснительно двигается корвет.
За кормою — Европа, Азия, Африка, Старый
и Новый Свет.
Каждый парус выглядит в профиль, как знак вопроса.
И пространство хранит ответ.

VII

«Ирина!» «Я слушаю». «Взгляни-ка сюда, Ирина».
«Я же сплю». «Все равно. Посмотри-ка, что это
там?» «Да где?»
«В иллюминаторе». «Это... это, по-моему, субмарина».
«Но оно извивается!» «Ну и что из того? В воде
все извивается». «Ирина!» «Куда ты тащишь меня?!
Я раздета!»
«Да ты только взгляни!» «О Боже, не напирай!
Ну, гляжу. Извивается... но ведь это... Это...
Это гигантский спрут!.. И он лезет к нам! Николай!..»

VIII

Море внешне безжизненно, но оно
полно чудовищной жизни, которую не дано
постичь, пока не пойдешь на дно.

Что порой подтверждается сетью, тралом.
Либо — пляской волн, отражающих как бы в вялом
зеркале творящееся под одеялом.

Находясь на поверхности, человек может быстро
плыть.
Под водою, однако, он умеряет прыть.
Внезапно он хочет пить.

Там, под водой, с пересохшей глоткой,
жизнь представляется вдруг короткой.
Под водой человек может быть лишь подводной
лодкой.

Изо рта вырываются пузыри.
В глазах возникает эквивалент зари.
В ушах раздается некий бесстрастный голос,
считающий: раз, два, три.

IX

«Дорогая Бланш, пишу тебе, сидя внутри
гигантского осьминога.
Чудо, что письменные принадлежности и твоя
фотокарточка уцелели.
Сыро и душно. Тем не менее не одиноко:
рядом два дикаря, и оба играют на укалеле.
Главное, что темно. Когда напрягаю зренье,
различаю какие-то арки и своды. Сильно звенит
в ушах.
Постараюсь исследовать систему пищеваренья.
Это — единственный путь к свободе. Целую.
Твой верный Жак».

«Вероятно, так было в утробе... Но спасибо
и за осьминога.
Ибо мог бы просто пойти на дно, либо —
попасть к акуле.
Все еще в поисках. Дикари, увы, не подмога:
о чем я их ни спрошу, слышу странное „хули-хули".
Вокруг бесконечные, скользкие, вьющиеся туннели.
Какая-то загадочная, переплетающаяся система.
Вероятно, я брежу, но вчера на панели
мне попался некто, назвавшийся капитаном Немо».

«Снова Немо. Пригласил меня в гости. Я
пошел. Говорят, что он вырастил этого осьминога.
Как протест против общества. Раньше была семья,
но жена и т. д. И ему ничего иного
не осталось. Говорит, что мир потонул во зле.
Осьминог (сокращенно — Ося) карает жестокосердье
и гордыню, воцарившиеся на земле.
Обещал, что если останусь, то обрету бессмертье».

«Вторник. Ужинали у Немо. Были вино, икра
(с „Принца“ и с „Витязя“). Дикари подавали, скаля
зубы. Обсуждали начатую вчера
тему бессмертья, „Мысли“ Паскаля, последнюю
вещь в „Ла Скала“.
Представь себе вечер, свечи. Со всех сторон —
осьминог.
Немо с его бородой и с глазами голубыми,
как у младенца.
Сердце сжимается, как подумаешь, как он тут
одинок...»

*(Здесь обрываются письма к Бланш Деларю
от лейтенанта Бенца.)*

X

Когда корабль не приходит в определенный порт
ни в назначенный срок, ни позже,
Директор Компании произносит: «Черт!»,
Адмиралтейство: «Боже».

Оба не правы. Но откуда им знать о том,
что приключилось. Ведь не допросишь чайку,
ни акулу с ее набитым ртом,
не направишь овчарку

пó следу. И какие вообще следы
в океане? Все это сущий
бред. Еще одно торжество воды
в состязании с сушей.

В океане все происходит вдруг.
Но потом еще долго волна теребит скитальцев:
доски, обломки мачты и спасательный круг;
все — без отпечатка пальцев.

И потом наступает осень, за ней — зима.
Сильно дует сирокко. Лучшего адвоката
молчаливые волны могут свести с ума
красотою заката.

И становится ясно, что нечего вопрошать
ни посредством горла, ни с помощью радиозонда
синюю рябь, продолжающую улучшать
линию горизонта.

Что-то мелькает в газетах, толкующих так и сяк
факты, которых, собственно, кот наплакал.
Женщина в чем-то коричневом хватается за косяк
и оседает на пол.

Горизонт улучшается. В воздухе соль и йод.
Вдалеке на волне покачивается какой-то
безымянный предмет. И колокол глухо бьет
в помещении Ллойда.

1976

СТРОФЫ

М. Б.

I

Наподобье стакана,
оставившего печать
на скатерти океана,
которого не перекричать,
светило ушло в другое
полушарие, где
оставляют в покое
только рыбу в воде.

II

Вечером, дорогая,
здесь тепло. Тишина
молчанием попугая
буквально завершена.
Луна в кусты чистотела
льет свое молоко:
неприкосновенность тела,
зашедшая далеко.

III

Дорогая, что толку
пререкаться, вникать

в случившееся. Иголку
больше не отыскать
в человеческом сене.
Впору вскочить, разя
тень; либо — вместе со всеми
передвигать ферзя.

IV

Все, что мы звали личным,
что копили, греша,
время, считая лишним,
как прибой с голыша,
стачивает — то лаской,
то посредством резца, —
чтобы кончить цикладской
вещью без черт лица.

V

Ах, чем меньше поверхность,
тем надежда скромней
на безупречную верность
по отношенью к ней.
Может, вообще пропажа
тела из виду есть
со стороны пейзажа
дальнозоркости месть.

VI

Только пространство ко́рысть
в тычущем вдаль персте

может найти. И скорость
света есть в пустоте.
Так и портится зренье:
чем ты дальше проник;
больше, чем от старенья
или чтения книг.

VII

Так же действует плотность
тьмы. Ибо в смысле тьмы
у вертикали плоскость
сильно берет взаймы.
Человек — только автор
сжатого кулака,
как сказал авиатор,
уходя в облака.

VIII

Чем безнадежней, тем как-то
проще. Уже не ждешь
занавеса, антракта,
как пылкая молодежь.
Свет на сцене, в кулисах
меркнет. Выходишь прочь
в рукоплесканье листьев,
в американскую ночь.

IX

Жизнь есть товар на вынос:
торса, пениса, лба.

И географии примесь
к времени есть судьба.
Нехотя, из-под палки,
признаешь эту власть,
подчиняешься Парке,
обожающей прясть.

X

Жухлая незабудка
мозга кривит мой рот.
Как тридцать третья буква,
я пячусь всю жизнь вперед.
Знаешь, все, кто далече,
по ком голосит тоска, —
жертвы законов речи,
запятых, языка.

XI

Дорогая, несчастных
нет! нет мертвых, живых.
Всё — только пир согласных
на их ножках кривых.
Видно, сильно превысил
свою роль свинопас,
чей нетронутый бисер
переживет всех нас.

XII

Право, чем гуще россыпь
черного на листе,

тем безразличней особь
к прошлому, к пустоте
в будущем. Их соседство,
мало суля добра,
лишь ускоряет бегство
по бумаге пера.

XIII

Ты не услышишь ответа,
если спросишь «куда»,
так как стороны света
сводятся к царству льда.
У языка есть полюс,
где белизна сквозит
сквозь эльзевир; где голос
флага не водрузит.

XIV

Бедность сих строк — от жажды
что-то спрятать, сберечь;
обернуться. Но дважды
в ту же постель не лечь.
Даже если прислуга
не меняет белье;
здесь — не Сатурн, и с круга
не соскочить в нее.

XV

С той дурной карусели,
что воспел Гесиод,

сходят не там, где сели,
но где ночь застает.
Сколько глаза ни колешь
тьмой — расчетом благим
повторимо всего лишь
слово: словом другим.

XVI

Так барашка на вертел
нижут, разводят жар.
Я, как мог, обессмертил
то, что не удержал.
Ты, как могла, простила
все, что я натворил.
В общем, песня сатира
вторит шелесту крыл.

XVII

Дорогая, мы квиты.
Больше: друг к другу мы
точно оспа привиты
среди общей чумы.
Лишь объекту злоречья,
вместе с шансом в пятно
уменьшаться, предплечье
в утешенье дано.

XVIII

Ах, за щедрость пророчеств —
дней грядущих шантаж —

как за бич наших отчеств,
память, много не дашь.
Им присуща, как аист
свёртку, приторность кривд.
Но мы живы, покамест
есть прощенье и шрифт.

XIX

Эти вещи сольются
в свое время в глазу
у воззрившихся с блюдца
на пестроту внизу.
Полагаю, и вправду
хорошо, что мы врозь,
чтобы взгляд астронавту
напрягать не пришлось.

XX

Вынь, дружок, из кивота
лик Пречистой Жены.
Вставь семейное фото —
вид планеты с Луны.
Снять нас вместе мордатый
не сподобился друг,
проморгал соглядатай;
в общем, всем недосуг.

XXI

Неуместней, чем ящер
в филармонии, вид

нас вдвоем в настоящем.
Тем верней удивит
обитателей завтра
разведенная здесь
сильных чувств динозавра
и кириллицы смесь.

XXII

Эти строчки по сути
болтовня старика.
В нашем возрасте судьи
удлиняют срока.
Иванову. Петрову.
Своей хрупкой кости.
Но свободному слову
не с кем счеты свести.

XXIII

Так мы лампочку тушим,
чтоб сшибить табурет.
Разговор о грядущем —
тот же старческий бред.
Лучше всё, дорогая,
доводить до конца,
темноте помогая
мускулами лица.

XXIV

Вот конец перспективы
нашей. Жаль, не длинней.

Дальше — дивные дивы
времени, лишних дней,
скачек к финишу в шорах
городов и т. п.;
лишних слов, из которых
ни одно о тебе.

XXV

Около океана,
летней ночью. Жара
как чужая рука на
темени. Кожура,
снятая с апельсина,
жухнет. И свой обряд,
как жрецы Элевсина,
мухи над ней творят.

XXVI

Облокотясь на локоть,
я слушаю шорох лип.
Это хуже, чем грохот
и знаменитый всхлип.
Это хуже, чем детям
сделанное «бо-бо».
Потому что за этим
не следует ничего.

[1978]

ЭКЛОГА 4-я (зимняя)

Ultima Cumaei venit jam carminis aetas:
Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo.

Virgil, Eclogue IV[1]

Дереку Уолкотту

I

Зимой смеркается сразу после обеда.
В эту пору голодных нетрудно принять за сытых.
Зевок загоняет в берлогу простую фразу.
Сухая, сгущенная форма света —
снег — обрекает ольшаник, его засыпав,
на бессонницу, на доступность глазу

в темноте. Роза и незабудка
в разговорах всплывают все реже. Собаки с вялым
энтузиазмом кидаются по следу, ибо сами
оставляют следы. Ночь входит в город, будто
в детскую: застает ребенка под одеялом;
и перо скрипит, как чужие сани.

II

Жизнь моя затянулась. В речитативе вьюги
обострившийся слух различает невольно тему

---

[1] Круг последний настал по вещанью пророчицы Кумской,
Сызнова ныне времен зачинается строй величавый.
Вергилий. Эклога IV. (Перев. С. Шервинского).

оледенения. Всякое «во-саду-ли»
есть всего лишь застывшее «буги-вуги».
Сильный мороз суть откровенье телу
о его грядущей температуре

либо — вздох Земли о ее богатом
галактическом прошлом, о злом морозе.
Даже здесь щека пунцовеет, как редиска.
Космос всегда отливает слепым агатом,
и вернувшееся восвояси «морзе»
попискивает, не застав радиста.

III

В феврале лиловеют заросли краснотала.
Неизбежная в профиле снежной бабы
дорожает морковь. Ограниченный бровью,
взгляд на холодный предмет, на кусок металла,
лютей самого металла — дабы
не пришлось его с кровью

отдирать от предмета. Как знать, не так ли
озирал свой труд в день восьмой и после
Бог? Зимой, вместо сбора ягод,
затыкают щели кусками пакли,
охотней мечтают об общей пользе,
и вещи становятся старше на год.

IV

В стужу панель подобна сахарной карамели.
Пар из гортани чаще к вздоху, чем к поцелую.
Реже снятся дома, где уже не примут.
Жизнь моя затянулась. По крайней мере,

точных примет с лихвой хватило бы на вторую
жизнь. Из одних примет можно составить климат

либо пейзаж. Лучше всего безлюдный,
с девственной белизной за пеленою кружев,
— мир, не слыхавший о лондонах и парижах,
мир, где рассеянный свет — генератор будней,
где в итоге вздрагиваешь, обнаружив,
что и тут кто-то прошел на лыжах.

V

Время есть холод. Всякое тело, рано
или поздно, становится пищею телескопа:
остывает с годами, удаляется от светила.
Стекло зацветает сложным узором: рама
суть хрустальные джунгли хвоща, укропа
и всего, что взрастило

одиночество. Но, как у бюста в нише,
глаз зимою скорее закатывается, чем плачет.
Там, где роятся сны, за пределом зренья,
время, упавшее сильно ниже
нуля, обжигает ваш мозг, как пальчик
шалуна из русского стихотворенья.

VI

Жизнь моя затянулась. Холод похож на холод,
время — на время. Единственная преграда —
теплое тело. Упрямое, как ослица,
стоит оно между ними, поднявши ворот,
как пограничник держась приклада,
грядущему не позволяя слиться

с прошлым. Зимою на самом деле
вторник он же суббота. Днем легко ошибиться:
свет уже выключили или еще не включили?
Газеты могут печататься раз в неделю.
Время глядится в зеркало, как певица,
позабывшая, что́ это — «Тоска» или «Лючия».

VII

Сны в холодную пору длинней, подробней.
Ход конем лоскутное одеяло
заменяет на досках паркета прыжком лягушки.
Чем больше лютует пурга над кровлей,
тем жарче требует идеала
голое тело в тряпичной гуще.

И вам снятся настурции, бурный Терек
в тесном ущелье, мушиный куколь
между стеной и торцом буфета:
праздник кончиков пальцев в плену бретелек.
А потом все стихает. Только горячий уголь
тлеет в серой золе рассвета.

VIII

Холод ценит пространство. Не обнажая сабли,
он берет урочища, веси, грады.
Населенье сдается, не сняв треуха.
Города — особенно, чьи ансамбли,
чьи пилястры и колоннады
стоят как пророки его триумфа,

смутно белея. Холод слетает с неба
на парашюте. Всяческая колонна

выглядит пятой, жаждет переворота.
Только ворона не принимает снега,
и вы слышите, как кричит ворона
картавым голосом патриота.

IX

В феврале чем позднее, тем меньше ртути.
Т. е. чем больше времени, тем холоднее. Звезды
как разбитый термометр: каждый квадратный метр
ночи ими усеян, как при салюте.
Днем, когда небо под стать известке,
сам Казимир бы их не заметил,

белых на белом. Вот почему незримы
ангелы. Холод приносит пользу
ихнему воинству: их, крылатых,
мы̀ обнаружили бы, воззри мы
вправду горѐ, где они, как по льду,
скользят белофиннами в маскхалатах.

X

Я не способен к жизни в других широтах.
Я нанизан на холод, как гусь на вертел.
Слава голой березе, колючей ели,
лампочке желтой в пустых воротах,
— слава всему, что приводит в движенье ветер!
В зрелом возрасте это — вариант колыбели.

Север — честная вещь. Ибо одно и то же
он твердит вам всю жизнь — шепотом, в полный
голос

в затянувшейся жизни — разными голосами.
Пальцы мерзнут в унтах из оленьей кожи,
напоминая забравшемуся на полюс
о любви, о стоянии под часами.

XI

В сильный мороз даль не поет сиреной.
В космосе самый глубокий выдох
не гарантирует вдоха, уход — возврата.
Время есть мясо немой Вселенной.
Там ничего не тикает. Даже выпав
из космического аппарата,

ничего не поймаете: ни фокстрота,
ни Ярославны, хоть на Путивль настроясь.
Вас убивает на внеземной орбите
отнюдь не отсутствие кислорода,
но избыток Времени в чистом, то есть
без примеси вашей жизни, виде.

XII

Зима! Я люблю твою горечь клюквы
к чаю, блюдца с дольками мандарина,
твой миндаль с арахисом, граммов двести.
Ты раскрываешь цыплячьи клювы
именами «Ольга» или «Марина»,
произносимыми с нежностью только в детстве

и в тепле. Я пою синеву сугроба
в сумерках, шорох фольги, частоту бемоля —
точно «чижика», где подбирает рука Господня.
И дрова, грохотавшие в гулких дворах сырого

города, мерзнущего у моря,
меня согревают еще сегодня.

XIII

В определенном возрасте время года
совпадает с судьбой. Их роман недолог,
но в такие дни вы чувствуете: вы правы.
В эту пору не важно, что вам чего-то
не досталось; и рядовой фенолог
может описывать быт и нравы.

В эту пору ваш взгляд отстает от жеста.
Треугольник больше не пылкая теорема:
все углы затянула плотная паутина,
пыль. В разговорах о смерти место
играет все большую роль, чем время,
и слюна, как полтина,

XIV

обжигает язык. Реки, однако, вчуже
скованы льдом; можно надеть рейтузы;
прикрутить к ботинку железный полоз.
Зубы, устав от чечетки стужи,
не стучат от страха. И голос Музы
звучит как сдержанный, частный голос.

Так родится эклога. Взамен светила
загорается лампа: кириллица, грешным делом,
разбредаясь по прописи вкривь ли, вкось ли,
знает больше, чем та сивилла,
о грядущем. О том, как чернеть на белом,
покуда белое есть, и после.

1980

ЭКЛОГА 5-я (летняя)

Марго Пикен

I

Вновь я слышу тебя, комариная песня лета!
Потные муравьи спят в тени курослепа.
Муха сползает с пыльного эполета
лопуха, разжалованного в рядовые.
Выраженье «ниже травы» впервые
означает гусениц. Буровые

вышки разросшегося кипрея
в джунглях бурьяна, вьюнка, пырея
синеют от близости эмпирея.
Салют бесцветного болиголова
сотрясаем грабками пожилого
богомола. Темно-лилова,

сердцевина репейника напоминает мину,
взорвавшуюся как бы наполовину.
Дягиль тянется точно рука к графину.
И паук, как рыбачка, латает крепкой
ниткой свой невод, распятый терпкой
полынью и золотой сурепкой.

Жизнь — сумма мелких движений. Сумрак
в ножнах осоки, трепет пастушьих сумок,
меняющийся каждый миг рисунок
конского щавеля, дрожь люцерны,
чебреца, тимофеевки — драгоценны
для понимания законов сцены,

не имеющей центра. И злак, и плевел
в полдень отбрасывают на север
общую тень, ибо их посеял
тот же ветреный сеятель, кривотолки
о котором и по сей день не смолкли.
Вслушайся, как шуршат метелки

петушка-или-курочки! что лепечет
ромашки отрывистый чет и нечет!
как мать-и-мачеха им перечит,
как болтает, точно на грани бреда,
примятая лебедою Леда
нежной мяты. Лужайки лета,

освещенные солнцем! бездомный мотыль,
пирамиды крапивы, жара и одурь.
Пагоды папоротника. Поодаль —
анис, как рухнувшая колонна,
минарет шалфея в момент наклона —
травяная копия Вавилона,

зеленая версия Третьеримска!
где вправо сворачиваешь не без риска
вынырнуть слева: все далеко и близко.
И кузнечик в погоне за балериной
капустницы, как герой былинный,
замирает перед сухой былинкой.

II

Воздух, бесцветный вблизи, в пейзаже
выглядит синим. Порою — даже
темно-синим. Возможно, та же
вещь случается с зеленью: удаленность

взора от злака и есть зеленость
оного злака. В июле склонность

флоры к разрыву с натуралистом,
дав потемнеть и набрякнуть листьям,
передается с загаром лицам.
Сумма красивых и некрасивых,
удаляясь и приближаясь, в силах
глаз измучить почище синих

и зеленых пространств. Окраска
вещи на самом деле маска
бесконечности, жадной к деталям. Масса,
увы, не кратное от деленья
энергии на скорость зренья
в квадрате, но ощущенье тренья

о себе подобных. Вглядись в пространство!
в его одинаковое убранство
поблизости и вдалеке! в упрямство,
с каким, независимо от размера,
зелень и голубая сфера
сохраняют колер. Это — почти что вера,

род фанатизма! Жужжанье мухи,
увязшей в липучке, — не голос муки,
но попытка автопортрета в звуке
«ж». Подобие алфавита,
тело есть знак размноженья вида
за горизонт. И пейзаж — лишь свита

убежавших в Азию, к стройным пальмам,
óсобей. Верное ставням, спальням,
утро в июле мусолит пальцем
пачки жасминовых ассигнаций,

лопаются стручки акаций,
и воздух прозрачнее комбинаций

спящей красавицы. Душный июль! Избыток
зелени и синевы — избитых
форм бытия. И в глазных орбитах —
остановившееся, как Аттила
перед мятым щитом, светило:
дальше попросту не хватило

означенной голубой кудели
воздуха. В одушевленном теле
свет узнает о своем пределе
и преломляется, как в итоге
длинной дороги, о чьем истоке
лучше не думать. В конце дороги —

III

бабочки, мальвы, благоуханье сена,
река вроде Оредежи или Сейма,
расположившиеся подле семьи
дачников, розовые наяды,
их рискованные наряды,
плеск; пронзительные рулады

соек тревожат прибрежный тальник,
скрывающий белизну опальных
мест у скидывающих купальник
в зарослях; запах хвои, обрывы
цвета охры; жара, наплывы
облаков; и цвета мелкой рыбы

волны. О, водоемы лета! Чаще
всего блестящие где-то в чаще

пруды или озёра — части
воды, окруженные сушей; шелест
осоки и камышей, замшелость
коряги, нежная ряска, прелесть

желтых кувшинок, бесстрастность лилий,
водоросли — или рай для линий —
и шастающий, как Христос, по синей
глади жук-плавунец. И порою окунь
всплеснет, дабы окинуть оком
мир. Так высовываются из окон

и немедленно прячутся, чтоб не выпасть.
Лето! пора рубах навыпуск,
разговоров про ядовитость
грибов, о поганках, о белых пятнах
мухоморов, полемики об опятах
и сморчках; тишины объятых

сонным покоем лесных лужаек,
где в полдень истома глаза смежает,
где пчела, если вдруг ужалит,
то, приняв вас сослепу за махровый
мак или за вещь, коровой
оставленную, и взлетает, пробой

обескуражена и громоздка.
Лес — как ломаная расческа.
И внезапная мысль о себе подростка:
«выше кустарника, ниже ели»
оглушает его на всю жизнь. И еле
видный жаворонок сыплет трели

с высоты. Лето! пора зубрежки
к экзаменам, формул, орла и решки;

прыщи, бубоны одних, задержки
других — от страха, что не осилишь;
силуэты техникумов, училищ,
даже во сне. Лишь хлысты удилищ

с присвистом прочь отгоняют беды.
В образовавшиеся просветы
видны сандалии, велосипеды
в траве; никелированные педали
как петлицы кителей, как медали.
В их резине и в их металле

что-то от будущего, от века
европы, железных дорог — чья ветка
и впрямь, как от порыва ветра,
дает зеленые полустанки —
лес, водокачка, лицо крестьянки,
изгородь — и из твоей жестянки

расползаются вправо-влево
вырытые рядом со стенкой хлева
червяки. А потом — телега
с наваленными на нее кулями
и бегущий убранными полями
проселок. И где-то на дальнем плане

церковь — графином, суслоны, хаты,
крытые шифером с толью скаты
и стёкла, ради чьих рам закаты
и существуют. И тень от спицы,
удлиняясь до польской почти границы,
бежит вдоль обочины за матерком возницы,

как лохматая Жучка, она же Динка;
и ты глядишь на носок ботинка,

в зубах травинка, в мозгу блондинка
с каменной дачи — и в верхотуре
только журавль, а не вестник бури.
Слава нормальной температуре! —

на десять градусов ниже тела.
Слава всему, до чего есть дело.
Всему, что еще вам не надоело!
Рубашке болтающейся, подсохнув,
панаме, выглядящей как подсолнух,
вальсу издалека «На сопках».

IV

Развевающиеся занавески летних
сумерек! крынками полный ледник,
сталин или хрущев последних
тонущих в треске цикад известий,
варенье, сделанное из местной
брусники. Обмазанные известкой

щиколотки яблоневой аллеи
чем темнее становится, тем белее;
а дальше высятся бармалеи
настоящих деревьев в сгущенной синьке
ве́чера. Кухни, зады, косынки,
слюдяная форточка керосинки

с адским пламенем. Ужины на верандах!
Картошка во всех ее вариантах.
Лук и редиска невероятных
размеров, укроп, огурцы из кадки,
помидоры, и все это — прямо с грядки,
и, наконец, наигравшись в прятки,

пыльные емкости! Копоть лампы.
Пляска теней на стене. Таланты
и поклонники этого действа. Латы
самовара и рафинад, от соли
отличаемый с помощью мухи. Соло
удода в малиннике. Или — ссоры

лягушек в канаве у сеновала.
И в латах кипящего самовара —
ужимки вытянутого овала,
шорох газеты, курлы отрыжек;
из гостиной доносится четкий «чижик»;
и мысль Симонида насчет лодыжек

избавляет на миг каленый
взгляд от обоев и ответвлений
боярышника: вид коленей
всегда недостаточен. Тем дороже
тело, что ткань, его скрыв, похоже,
помогает скользить по коже,

лишенной узоров, присущих ткани,
вверх. Тем временем чай в стакане,
остывая, туманит грани,
и пламя в лампе уже померкло.
А после под одеялом мелко
дрожит, тускло мерцая, стрелка

нового компаса, определяя
Север не хуже, чем удалая
мысль прокурора. Обрывки лая,
пазы в рассохшемся табурете,
сонное кукареку в подклети,
крик паровоза. Потом и эти

звуки смолкают. И глухо — глуше,
чем это воспринимают уши, —
листва, бесчисленная, как души
живших до нас на земле, лопочет
нечто на диалекте почек,
как языками, чей рваный почерк

— кляксы, клинопись лунных пятен —
ни тебе, ни стене не внятен.
И долго среди бугров и вмятин
матраса вертишься, расплетая,
где иероглиф, где запятая;
и снаружи шумит густая,

еще не желтая, мощь Китая.

1981

МУХА

Альфреду и Ирене Брендель

I

Пока ты пела, осень наступила.
Лучина печку растопила.
Пока ты пела и летала,
похолодало.

Теперь ты медленно ползешь по глади
замызганной плиты, не глядя
туда, откуда ты взялась в апреле.
Теперь ты еле

передвигаешься. И ничего не стоит
убить тебя. Но, как историк,
смерть для которого скучней, чем мука,
я медлю, муха.

II

Пока ты пела и летала, листья
попадали. И легче литься
воде на землю, чтоб назад из лужи
воззриться вчуже.

А ты, видать, совсем ослепла. Можно
представить цвет крупинки мозга,
померкший от твоей, брусчатке
сродни, сетчатки,

и содрогнуться. Но тебя, пожалуй,
устраивает дух лежалый
жилья, зеленых штор понурость.
Жизнь затянулась.

III

Ах, цокотуха, потерявши юркость,
ты выглядишь, как старый юнкерс,
как черный кадр документальный
эпохи дальней.

Не ты ли за полночь там то и дело
над люлькою моей гудела,
гонимая в оконной раме
прожекторами?

А нынче, милая, мой желтый ноготь
брюшко твое горазд потрогать,
и ты не вздрагиваешь от испуга,
жужжа, подруга.

IV

Пока ты пела, за окошком серость
усилилась. И дверь расселась
в пазах от сырости. И мерзнут пятки.
Мой дом в упадке.

Но не пленить тебя ни пирамидой
фаянсовой давно не мытой
посуды в раковине, ни палаткой
сахары сладкой.

Тебе не до того. Тебе не
до мельхиоровой их дребедени;
с ней связываться — себе дороже.
Мне, впрочем, тоже.

V

Как старомодны твои крылья, лапки!
В них чудится вуаль прабабки,
смешавшаяся с позавчерашней
французской башней, —

век номер девятнадцать, словом.
Но, сравнивая с тем и овом
тебя, я обращаю в прибыль
твою погибель,

подталкивая ручкой подлой
тебя к бесплотной мысли, к полной
неосязаемости раньше срока.
Прости: жестоко.

VI

О чем ты грезишь? О своих избитых,
но не рассчитанных никем орбитах?
О букве шестирукой, ради
тебя в тетради

расхристанной на месте плоском
кириллицыным отголоском
единственным, чей цвет, бывало,
ты узнавала

и вспархивала. А теперь, слепая,
не реагируешь ты, уступая
плацдарм живым брюнеткам, женским
ужимкам, жестам.

VII

Пока ты пела и летала, птицы
отсюда отбыли. В ручьях плотицы
убавилось, и в рощах пусто.
Хрустит капуста

в полях от холода, хотя одета
по-зимнему. И бомбой где-то
будильник тикает, лицом неточен,
и взрыв просрочен.

А больше — ничего не слышно.
Дома отбрасывают свет покрышно
обратно в облако. Трава пожухла.
Немного жутко.

VIII

И только двое нас теперь — заразы
разносчиков. Микробы, фразы
равно способны поражать живое.
Нас только двое:

твое страшащееся смерти тельце,
мои, играющие в земледельца
с образованием, примерно восемь
пудов. Плюс осень.

Совсем испортилась твоя жужжалка!
Но времени себя не жалко
на нас растрачивать. Скажи спасибо,
что — неспесиво,

IX

что совершенно небрезгливо, либо —
не чувствует, какая липа
ему подсовывается в виде вялых
больших и малых

пархатостей. Ты отлеталась.
Для времени, однако, старость
и молодость неразличимы.
Ему причины

и следствия чужды де-юре,
а данные в миниатюре
— тем более. Как пальцам в спешке
— орлы и решки.

X

Оно, пока ты там себе мелькала
под лампочкою вполнакала,
спасаясь от меня в стропила,
таким же было,

как и сейчас, когда с бесцветной пылью
ты сблизилась, благодаря бессилью
и отношению ко мне. Не думай
с тоской угрюмой,

что мне оно — большой союзник.
Глянь, милая: я — твой соузник,
подельник, закадычный кореш;
срок не ускоришь.

XI

Снаружи осень. Злополучье голых
ветвей кизиловых. Как при монголах:
брак серой низкорослой расы
и желтой массы.

Верней — сношения. И никому нет дела
до нас с тобой. Мной овладело
оцепенение — сиречь твой вирус.
Ты б удивилась,

узнав, как сильно заражает сонность
и безразличие, рождая склонность
расплачиваться с планетой
ее монетой.

XII

Не умирай! сопротивляйся, ползай!
Существовать неинтересно с пользой.
Тем паче для себя: казенной.
Честней без оной

смущать календари и числа
присутствием, лишенным смысла,
доказывая посторонним,
что жизнь — синоним

небытия и нарушенья правил.
Будь помоложе ты, я б взор направил
туда, где этого в избытке. Ты же
стара и ближе.

XIII

Теперь нас двое, и окно с поддувом.
Дождь стекла пробует нетвердым клювом,
нас заштриховывая без нажима.
Ты недвижима.

Нас двое, стало быть. По крайней мере,
когда ты кончишься, я факт потери
отмечу мысленно — что будет эхом
твоих с успехом

когда-то выполненных мертвых петель.
Смерть, знаешь, если есть свидетель,
отчетливее ставит точку,
чем в одиночку.

XIV

Надеюсь все же, что тебе не больно.
Боль места требует и лишь окольно
к тебе могла бы подобраться, с тыла
накрыть. Что было

бы, видимо, моей рукою.
Но пальцы заняты пером, строкою,
чернильницей. Не умирай, покуда
не слишком худо,

покамест дергаешься. Ах, гумозка!
Плевать на состоянье мозга:
вещь, вышедшая из повиновенья,
как то мгновенье,

XV

по-своему прекрасна. То есть
заслуживает, удостоясь
овации наоборот, продлиться.
Страх суть таблица

зависимостей между личной
беспомощностью тел и лишней
секундой. Выражаясь сухо,
я, цокотуха,

пожертвовать своей согласен.
Но вроде этот жест напрасен:
сдает твоя шестерка, Шива.
Тебе паршиво.

XVI

В провалах памяти, в ее подвалах,
среди ее сокровищ — палых,
растаявших и проч. (вообще их
ни при кощеях

не пересчитывали, ни, тем паче,
позднее), среди этой сдачи
с существования, приют нежесткий
твоею тезкой

неполною, по кличке Муза,
уже готовится. Отсюда, муха,
длинноты эти, эта как бы свита
букв, алфавита.

XVII

Снаружи пасмурно. Мой орган тренья
о вещи в комнате, по кличке зренье,
сосредоточивается на обоях.
Увы, с собой их

узор насиженный ты взять не в силах,
чтоб ошарашить серафимов хилых
там, в эмпиреях, где царит молитва,
идеей ритма

и повторимости, с их колокольни —
бессмысленной, берущей корни
в отчаяньи, им — насекомым
туч — незнакомым.

XVIII

Чем это кончится? Мушиным Раем?
Той пасекой, верней — сараем,
где над малиновым вареньем сонным
кружатся сонмом

твои предшественницы, издавая
звук поздней осени, как мостовая
в провинции. Но дверь откроем —
и бледным роем

они рванутся мимо нас обратно
в действительность, ее опрятно
укутывая в плотный саван
зимы — тем самым

XIX

подчеркивая — благодаря мельканью, —
что души обладают тканью,
материей, судьбой в пейзаже;
что, цвета сажи,

вещь в колере — чем бить баклуши —
меняется. Что, в сумме, души
любое превосходят племя.
Что цвет есть время

или стремление за ним угнаться,
великого Галикарнасца
цитируя то в фас, то в профиль
холмов и кровель.

XX

Отпрянув перед бледным вихрем,
узнаю ли тебя я в ихнем
заведомо крылатом войске?
И ты по-свойски

спланируешь на мой затылок,
соскучившись вдали опилок,
чьим шорохом весь мир морочим?
Едва ли. Впрочем,

дав дуба позже всех — столетней! —
ты, милая, меж них последней
окажешься. И если примут,
то местный климат

XXI

с его капризами в расчет принявши,
спешащую сквозь воздух в наши
пределы я тебя увижу
весной, чью жижу

топча, подумаю: звезда сорвалась,
и, преодолевая вялость,
рукою вслед махну. Однако
не Зодиака

то будет жертвой, но твоей душою,
летящею совпасть с чужою
личинкой, чтоб явить навозу
метаморфозу.

1985

ВЕРТУМН

Памяти Джанни Буттафавы

I

Я встретил тебя впервые в чужих для тебя широтах.
Нога твоя там не ступала; но слава твоя достигла
мест, где плоды обычно делаются из глины.
По колено в снегу, ты возвышался, белый,
больше того — нагой, в компании одноногих,
тоже голых деревьев, в качестве специалиста
по низким температурам. «Римское божество» —
гласила выцветшая табличка,
и для меня ты был богом, поскольку ты знал
о прошлом
больше, нежели я (будущее меня
в те годы мало интересовало).
С другой стороны, кудрявый и толстощекий,
ты казался ровесником. И хотя ты не понимал
ни слова на местном наречьи, мы как-то
разговорились.
Болтал поначалу я; что-то насчет Помоны,
петляющих наших рек, капризной погоды, денег,
отсутствия овощей, чехарды с временами
года — насчет вещей, я думал, тебе доступных
если не по существу, то по общему тону
жалобы. Мало-помалу (жалоба — универсальный
праязык; вначале, наверно, было
«ой» или «ай») ты принялся отзываться:
щуриться, морщить лоб; нижняя часть лица

как бы оттаяла, и губы зашевелились.
«Вертумн», — наконец ты выдавил. «Меня зовут
Вертумном».

II

Это был зимний, серый, вернее — бесцветный день.
Конечности, плечи, торс,
по мере того как мы переходили от темы к теме,
медленно розовели и покрывались тканью:
шляпа, рубашка, брюки, пиджак, пальто
темно-зеленого цвета, туфли от Балансиаги.
Снаружи тоже теплело, и ты порой, замерев,
вслушивался с напряжением в шелест парка,
переворачивая изредка клейкий лист
в поисках точного слова, точного выраженья.
Во всяком случае, если не ошибаюсь,
к моменту, когда я, изрядно воодушевившись,
витийствовал об истории, войнах, неурожае,
скверном правительстве, уже отцвела сирень,
и ты сидел на скамейке, издали напоминая
обычного гражданина, измученного государством;
температура твоя была тридцать шесть и шесть.
«Пойдем, — произнес ты, тронув меня за локоть. —
Пойдем; покажу тебе местность,
где я родился и вырос».

III

Дорога туда, естественно, лежала сквозь облака,
напоминавшие цветом то гипс, то мрамор
настолько, что мне показалось, что ты имел в виду
именно это: размытые очертанья,

хаос, развалины мира. Но это бы означало
будущее — в то время, как ты уже
существовал. Чуть позже, в пустой кофейне
в добела раскаленном солнцем дремлющем городке,
где кто-то, выдумав арку, был не в силах
остановиться,
я понял, что заблуждаюсь, услышав твою беседу
с местной старухой. Язык оказался смесью
вечнозеленого шелеста с лепетом вечносиних
волн — и настолько стремительным,
что в течение разговора
ты несколько раз превратился у меня на глазах в нее.
«Кто она?» — я спросил после, когда мы вышли.
«Она? — ты пожал плечами. — Никто. Для
тебя — богиня».

IV

Сделалось чуть прохладней. Навстречу нам стали
часто
попадаться прохожие. Некоторые кивали,
другие смотрели в сторону, и виден был только
профиль.
Все они были, однако, темноволосы.
У каждого за спиной — безупречная перспектива,
не исключая детей. Что касается стариков,
у них она как бы скручивалась —
как раковина у улитки.
Действительно, прошлого всюду было гораздо больше,
чем настоящего. Больше тысячелетий,
чем гладких автомобилей. Люди и изваянья,
по мере их приближенья и удаленья,
не увеличивались и не уменьшались,
давая понять, что они — постоянные величины.

Странно тебя было видеть в естественной обстановке.
Не менее странным был факт, что меня почти
все понимали. Дело, наверно, было
в идеальной акустике, связанной с архитектурой,
либо — в твоем вмешательстве; в склонности вообще
абсолютного слуха к нечленораздельным звукам.

V

«Не удивляйся: моя специальность — метаморфозы.
На кого я взгляну — становятся тотчас мною.
Тебе это на руку. Все-таки за границей».

VI

Четверть века спустя, я слышу, Вертумн, твой голос,
произносящий эти слова, и чувствую на себе
пристальный взгляд твоих серых, странных
для южанина глаз. На заднем плане — пальмы,
точно всклокоченные трамонтаной
китайские иероглифы, и кипарисы,
как египетские обелиски.
Полдень; дряхлая балюстрада;
и заляпанный солнцем Ломбардии смертный облик
божества! временный для божества,
но для меня — единственный. С залысинами, с усами
скорее а-ля Мопассан, чем Ницше,
с сильно раздавшимся — для вящего камуфляжа —
торсом. С другой стороны, не мне
хвастать диаметром, прикидываться Сатурном,
кокетничать с телескопом. Ничто не проходит даром,
время — особенно. Наши кольца —
скорее кольца деревьев с их перспективой пня,

нежели сельского хоровода
или объятья. Коснуться тебя — коснуться
астрономической суммы клеток,
цена которой всегда — судьба,
но которой лишь нежность — пропорциональна.

VII

И я водворился в мире, в котором твой жест и слово
были непререкаемы. Мимикрия, подражанье
расценивались как лояльность. Я овладел искусством
сливаться с ландшафтом, как с мебелью или шторой
(что сказалось с годами на качестве гардероба).
С уст моих в разговоре стало порой срываться
личное местоимение множественного числа,
и в пальцах проснулась живость боярышника в ограде.
Также я бросил оглядываться. Заслышав сзади топот,
теперь я не вздрагиваю. Лопатками, как сквозняк,
я чувствую, что и за моей спиною
теперь тоже тянется улица, заросшая колоннадой,
что в дальнем ее конце тоже синеют волны
Адриатики. Сумма их, безусловно,
твой подарок, Вертумн. Если угодно — сдача,
мелочь, которой щедрая бесконечность
порой осыпает временное. Отчасти — из суеверья,
отчасти, наверно, поскольку оно одно —
временное — и способно на ощущенье счастья.

VIII

«В этом смысле таким, как я, —
ты ухмылялся, — от вашего брата польза».

IX

С годами мне стало казаться, что радость жизни
сделалась для тебя как бы второй натурой.
Я даже начал прикидывать, так ли уж безопасна
радость для божества? не вечностью ли божество
в итоге расплачивается за радость
жизни? Ты только отмахивался. Но никто,
никто, мой Вертумн, так не радовался прозрачной
струе, кирпичу базилики, иглам пиний,
цепкости почерка. Больше, чем мы! Гораздо
больше. Мне даже казалось, будто ты заразился
нашей всеядностью. Действительно: вид с балкона
на просторную площадь, дребезг колоколов,
обтекаемость рыбы, рваное колоратуро
видимой только в профиль птицы,
перерастающие в овацию аплодисменты лавра,
шелест банкнот — оценить могут только те,
кто помнит, что завтра, в лучшем случае —
послезавтра
все это кончится. Возможно, как раз у них
бессмертные учатся радости, способности улыбаться.
(Ведь бессмертным чужды подобные спасенья.)
В этом смысле тебе от нашего брата польза.

X

Никто никогда не знал, как ты проводишь ночи.
Это не так уж странно, если учесть твое
происхождение. Как-то за полночь, в центре мира,
я встретил тебя в компании тусклых звезд,
и ты подмигнул мне. Скрытность? Но космос вовсе
не скрытность. Наоборот: в космосе видно все

невооруженным глазом, и спят там без одеяла.
Накал нормальной звезды таков,
что, охлаждаясь, горазд породить алфавит,
растительность, форму времени; просто — нас,
с нашим прошлым, будущим, настоящим
и так далее. Мы — всего лишь
градусники, братья и сестры льда,
а не Бетельгейзе. Ты сделан был из тепла
и оттого — повсеместен. Трудно себе представить
тебя в какой-то отдельной, даже блестящей, точке.
Отсюда — твоя незримость. Боги не оставляют
пятен на простыне, не говоря — потомства,
довольствуясь рукотворным сходством
в каменной нише или в конце аллеи,
будучи счастливы в меньшинстве.

XI

Айсберг вплывает в тропики. Выдохнув дым, верблюд
рекламирует где-то на севере бетонную пирамиду.
Ты тоже, увы, навострился пренебрегать
своими прямыми обязанностями.
Четыре времени года
все больше смахивают друг на друга,
смешиваясь, точно в выцветшем портмоне
заядлого путешественника франки, лиры,
марки, кроны, фунты, рубли.
Газеты бормочут «эффект теплицы»
и «общий рынок»,
но кости ломит что дома, что в койке за рубежом.
Глядишь, разрушается даже бежавшая минным полем
годами предшественница шалопая Кристо.
В итоге — птицы не улетают
вовремя в Африку, типы вроде меня

реже и реже возвращаются восвояси,
квартплата резко подскакивает. Мало того, что нужно
жить, ежемесячно надо еще и платить за это.
«Чем банальнее климат, — как ты заметил, —
тем будущее быстрей становится настоящим».

XII

Жарким июльским утром температура тела
падает, чтоб достичь нуля.
Горизонтальная масса в морге
выглядит как сырье садовой
скульптуры. Начиная с разрыва сердца
и кончая окаменелостью. В этот раз
слова не подействуют: мой язык
для тебя уже больше не иностранный,
чтобы прислушиваться. И нельзя
вступить в то же облако дважды. Даже
если ты бог. Тем более, если нет.

XIII

Зимой глобус мысленно сплющивается. Широты
наползают, особенно в сумерках, друг на друга.
Альпы им не препятствуют. Пахнет оледененьем.
Пахнет, я бы добавил, неолитом и палеолитом.
В просторечии — будущим. Ибо оледененье
есть категория будущего, которое есть пора,
когда больше уже никого не любишь,
даже себя. Когда надеваешь вещи
на себя без расчета все это внезапно скинуть
в чьей-нибудь комнате и когда не можешь

выйти из дому в одной голубой рубашке,
не говоря — нагим. Я многому научился
у тебя, но не этому. В определенном смысле,
в будущем нет никого; в определенном смысле,
в будущем нам никто не дорог.
Конечно, там всюду маячат морены и сталактиты,
точно с потекшим контуром лувры и небоскребы.
Конечно, там кто-то движется: мамонты или
жуки-мутанты из алюминия, некоторые — на лыжах.
Но ты был богом субтропиков с правом надзора над
смешанным лесом и черноземной зоной —
над этой родиной прошлого. В будущем его нет,
и там тебе делать нечего. То-то оно наползает
зимой на отроги Альп, на милые Апеннины,
отхватывая то лужайку с ее цветком, то просто
что-нибудь вечнозеленое: магнолию, ветку лавра;
и не только зимой. Будущее всегда
настает, когда кто-нибудь умирает.
Особенно человек. Тем более — если бог.

XIV

Раскрашенная в цвета́ зари собака
лает в спину прохожего цвета ночи.

XV

В прошлом те, кого любишь, не умирают!
В прошлом они изменяют или прячутся в перспективу.
В прошлом лацканы у́же; единственные полуботинки
дымятся у батареи, как развалины буги-вуги.
В прошлом стынущая скамейка

напоминает обилием перекладин
обезумевший знак равенства. В прошлом ветер
до сих пор будоражит смесь
латыни с глаголицей в голом парке:
жэ, че, ша, ща плюс икс, игрек, зет,
и ты звонко смеешься: «Как говорил ваш вождь,
ничего не знаю лучше абракадабры».

XVI

Четверть века спустя, похожий на позвоночник
трамвай высекает искру в вечернем небе,
как гражданский салют погасшему навсегда
окну. Один караваджо равняется двум бернини,
оборачиваясь шерстяным кашне
или арией в Опере. Эти метаморфозы,
теперь оставшиеся без присмотра,
продолжаются по инерции. Другие предметы, впрочем,
затвердевают в том качестве, в котором ты их
оставил,
отчего они больше не по карману
никому. Демонстрация преданности? Просто
склонность
к монументальности? Или это в двери
нагло ломится будущее, и непроданная душа
у нас на глазах приобретает статус
классики, красного дерева, яичка от Фаберже?
Вероятней последнее. Что — тоже метаморфоза
и тоже твоя заслуга. Мне не из чего сплести
венок, чтоб как-то украсить чело твое на исходе
этого чрезвычайно сухого года.
В дурно обставленной, но большой квартире,
как собака, оставшаяся без пастуха,
я опускаюсь на четвереньки

и скребу когтями паркет, точно под ним зарыто —
потому что оттуда идет тепло —
твое теперешнее существованье.
В дальнем конце коридора гремят посудой;
за дверью шуршат подолы и тянет стужей.
«Вертумн, — я шепчу, прижимаясь к коричневой
половице
мокрой щекою, — Вертумн, вернись».

декабрь 1990
Милан

ТРИТОН

Земная поверхность есть
признак того, что жить
в космосе разрешено,
поскольку здесь можно сесть,
встать, пройтись, потушить
лампу, взглянуть в окно.

Восемь других планет
считают, что эти как раз
выводы неверны,
и мы слышим их «нет!»,
когда убивают нас
и когда мы больны.

Тем не менее я
существую, и мне,
искренне говоря,
в результате вполне
единственного бытия
дороже всего моря.

Хотя я не враг равнин,
друг ледниковых гряд,
ценитель пустынь и гор —
особенно Апеннин —
всего этого, говорят,
в космосе перебор.

Статус небесных тел
приобретаем за счет

рельефа. Но их рельеф
не плещет и не течет,
взгляду кладя предел,
его же преодолев.

Всякая жизнь под стать
ландшафту. Когда он сер,
сух, ограничен, тверд,
какой он может подать
умам и сердцам пример,
тем более — для аорт?

Когда вы стоите на
Сириусе — вокруг
бурое фантази
из щебня и валуна.
Это портит каблук
и не блестит вблизи.

У тел и у их небес
нету, как ни криви
пространство, иной среды.
«Многие жили без, —
заметил поэт, — любви,
но никто без воды».

Отсюда — мой сентимент.
И скорей, чем турист,
готовый нажать на спуск
камеры в тот момент,
когда ландшафт волнист,
во мне говорит моллюск.

Ему подпевает хор
хордовых, вторят пять

литров неголубой
крови: у мышц и пор
суши меня, как пядь,
отвоевал прибой.

Стоя на берегу
моря, морща чело,
присматриваясь к воде,
я радуюсь, что могу
разглядывать то, чего
в галактике нет нигде.

Моря состоят из волн —
странных вещей, чей вид
множественного числа,
брошенного на произвол,
был им раньше привит
всякого ремесла.

По существу, вода —
сумма своих частей,
которую каждый миг
меняет их чехарда;
и бредни ведомостей
усугубляет блик.

Определенье волны
заключено в самом
слове «волна». Оно,
отмеченное клеймом
взгляда со стороны,
им не закабалено.

В облике буквы «в»
явно дает гастроль

восьмерка — родная дочь
бесконечности, столь
свойственной синеве,
склянке чернил и проч.

Как форме, волне чужды
ромб, треугольник, куб,
всяческие углы.
В этом — прелесть воды.
В ней есть нечто от губ
с пеною вдоль скулы.

Склонностью пренебречь
смыслом, чья глубина
буквальна, морская даль
напоминает речь,
рваные письмена,
некоторым — скрижаль.

Именно потому,
узнавая в ней свой
почерк, певцы поют
рыхлую бахрому —
связки голосовой
или зрачка приют.

Заговори сама,
волна могла бы свести
слушателя своего
в одночасье с ума,
сказав ему: «я, прости,
не от мира сего».

Это, сдается мне,
было бы правдой. Сей —

удерживаем рукой,
в нем можно зайти к родне,
посмотреть Колизей,
произнести «на кой?».

Иначе с волной, чей шум,
смахивающий на «ура», —
шум, сумевший вобрать
«завтра», «сейчас», «вчера», —
идущий из царства сумм, —
не занести в тетрадь.

Там, где прошлое плюс
будущее вдвоем
бьют баклуши, творя
настоящее, вкус
диктует массам объем.
И отсюда — моря.

Скорость по кличке «свет»,
белый карлик, квазар
напоминают нерях;
то есть пожар, базар.
Материя же — эстет,
и ей лучше в морях.

Любое из них — скорей
слепок времени, чем
смесь катастрофы и
радости для ноздрей,
или — пир диадем,
где за столом — свои.

Собой превращая две
трети планеты в дно,

море — не лицедей.
Вещью на букву «в»
оно говорит: оно —
место не для людей.

Тем более если три
четверти. Для волны
суша — лишь эпизод,
а для рыбы внутри —
хуже глухой стены:
тот свет, кислород, азот.

При расшифровке «вода»,
обнажив свою суть,
даст в профиль или в анфас
«бесконечность-о-да»;
то есть, что мир отнюдь
создан не ради нас.

Не есть ли вообще тоска
по вечности и т. д.,
по ангельскому крылу —
инерция косяка,
в родной для него среде
уткнувшегося в скалу?

И не есть ли Земля
только посуда? Род
пиалы? И не есть ли мы,
пашущие поля,
танцующие фокстрот,
разновидность каймы?

Звезды кивнут: ага,
бордюр, оторочка, вязь

жизней, которых счет
зрения отродясь
от громокипящих га
моря не отвлечет.

Им виднее, как знать.
В сущности, их накал
в космосе объясним
недостатком зеркал;
это легче понять,
чем примириться с ним.

Но и моря, в свой черед,
обращены лицом
вовсе не к нам, но вверх,
ценя их, наоборот,
как выдуманной слепцом
азбуки фейерверк.

Оказываясь в западне
или же когда мы
никому не нужны,
мы видим моря вовне,
больше беря взаймы,
чем наяву должны.

В облике многих вод,
бегущих на нас, рябя,
встающих там на дыбы,
мнится свобода от
всего, от самих себя,
не говоря — судьбы.

Если вообще она
существует — и спор

об этом сильней в глуши —
она не одушевлена,
так как морской простор
шире, чем ширь души.

Сворачивая шапито,
грустно думать о том,
что бывшее, скажем, мной,
воздух хватая ртом,
превратившись в ничто,
не сделается волной.

Но ежели вы чуть-чуть
мизантроп, лиходей,
то вам, подтянув кушак,
приятно, подставив ей,
этой свободе, грудь,
сделать к ней лишний шаг.

1994

ЖИЗНЬ НА ВОЗДУШНОМ ПОТОКЕ

В 1975 году — ему еще оставалось двадцать лет жизни — Иосиф Бродский в одном из наиболее поразительных своих стихотворений «Осенний крик ястреба» с обычной уже для него в то время горькой трезвостью объяснил высокую катастрофичность своего пути.

Сильная птица в своей гордыне и стремлении охватить взглядом огромное пространство взлетает так высоко, что уже не может вернуться в пригодные для жизни слои атмосферы.

На воздушном потоке распластанный, одинок...
...Выше лучших помыслов прихожан
он парит в голубом океане, сомкнувши клюв...

В сложнейшем и бесконечно многообразном мире метафор Бродского нет, однако, ничего случайного. Смысловые связи тянутся через года.

С самых ранних стихотворений Бродского птицы — равно как и звезды — стали персонажами символическими. Ни у одного русского поэта нет столько птиц в стихах, как у Бродского. Быть может, потому, что ни у кого нет такого мощного инстинкта свободы.

И ястреб, взлетающий «выше лучших помыслов прихожан» — а лучшие помыслы прихожан устремлены к Богу, — сразу приводит на память другую птицу из стихотворения «Большая элегия Джону Донну». В «Боль-

шой элегии» птица-душа Донна тоже взлетает выше Бога.

Самоубийственная устремленность ввысь у Бродского, чтобы не превратиться в холодную риторику, предполагала не менее стремительное движение по горизонтали — в вещном мире.

Поднявшийся в эмпирей ястреб «видит гряду покатых холмов и серебро реки». «Холмы» и «Река» — названия ранних стихотворений поэта, в которых были опробованы и декларированы принципы нового жанра, созданного Бродским, — жанра «больших стихотворений».

Зародившийся очень рано, детерминированный человеческой натурой и поэтикой Бродского жанр сформировался не сразу. Бродский начал с сочинения «Гость», которое обозначил как поэму. «Гость» — загадочная вещь, в которой явственно ощущается Достоевский и которая разнится от настоящей поэмы фактическим отсутствием сюжета. И в то же время в ней уже заложена неистовая динамика будущих «больших стихотворений».

Затем последовал «Петербургский роман», тоже названный поэмой, ориентированный и по ритмике, и по персонажам, и по настроению на Пушкина и на блоковское «Возмездие». Это была явная попытка уйти от собственного жанрового открытия, сквозившего в «Госте», в сторону сюжетной системы.

Затем — в 1961 году — было грандиозное «Шествие» — «поэма-мистерия», тоже поиски своего жанра, огромное полотно с четкой структурой взаиморазъясняющих баллад, романсов и комментариев, прямым прообразом последних были авторские отступления в «Евгении Онегине».

Весной 1962 года Бродский пишет «Зофью», которую опять называет поэмой, но которая уже являет собой чистый образец нового жанра — «большого стихотво-

рения». В «Зофье» на пространстве в 700 строк — в полтора раза больше «Медного всадника»! — нет и намека на *внешний сюжет*, необходимый жанровый признак поэмы. «Большие стихотворения», кроме обширности стихового пространства, отличает неистовая напряженность *внутреннего сюжета*. И этот внутренний сюжет — стремление понять свои взаимоотношения с миром, выявить, вывести из зловещего полумрака, выразить в слове опасности, подстерегающие человека, и в первую очередь его душу.

Все сотни строк «Зофьи» посвящены мучительному всматриванию поэта в окружающую зыбкую реальность — ту, что за окном, ту, что в комнате, ту, что существует за этим видимым вещным миром, а в конце — прозрение опасной двойственности мира — и отсюда почти истерический «гимн маятнику», неуклонному движению между противоположностями.

В «Зофье» впервые мы видим тот «принцип потока», на котором будут построены последующие «большие стихотворения»: подавляющие читателя нагнетение интонации и шквальное перечисление ситуаций или предметов.

Раскачивался бронзовый овал,
раскачивался смертный идеал.
Раскачивался маятник в холмах,
раскачивался в полдень и впотьмах,
раскачивался девочкой в окне,
раскачивался мальчиком во сне,
раскачивался чувством и кустом,
раскачивался в городе пустом...

И так — десятки строк, производящих такое же гипнотическое впечатление на читателя, а тем паче на слушателя, как созерцание стремительного водного потока.

Недаром первое из «больших стихотворений» — «Ручей», так и не опубликованное Бродским при жиз-

ни, — движение зачарованного героя вдоль бегущего ручья.

«Большие стихотворения» Бродского в своем интонационном апогее звучат как заклинания, когда не важен прямой смысл произносимого. Истинный смысл лежит глубже лексического ряда. В этом отношении «Зофья» была первым и концентрированным опытом.

С самых первых стихов, выстраивая свои отношения с опасным и враждебным миром, Бродский отчаянно подступился к едва ли не главной загадке бытия — к проблеме смерти, этого «Великого Может Быть» (выражение Рабле, которое Бродский использовал в «Письме в бутылке»), этого экзистенциального Зазеркалья, своей неизбежностью бросающего вызов свободе воли самодостаточного человека.

Этот мотив есть и в «Зофье», но мощное развитие он получил в том же году в двух очень разных «больших стихотворениях» — «От окраины к центру» и «Холмах».

Если первое по структуре повторяет «Зофью» — неподвижный человек обводит взглядом окружающий пейзаж, рождающий в нем бурный поток ассоциаций, воспоминаний, удивительной рефлексии на темы жизни и смерти, то «Холмы», начинающиеся как сюжетная баллада, постепенно, с неуклонно нарастающей динамикой стиха — стремление реки к водопаду — рушатся в финале в плач по убиенным, в заклинание страшного мира, в неистовую попытку найти словесные формы для зримого обозначения смерти.

Мощный эффект воздействия на читателей и слушателей достигался сочетанием поэтического распева с предельным вниманием к детали, насыщенностью стиха конкретными предметами. В этом отношении Бродский следовал за почитаемыми им античными авторами, для которых, как он утверждал, «основным способом познания мира было перечисление деталей, из которых он — мир — состоял».

«Большая элегия Джону Донну», написанная в марте 1963 года, в значительной степени и построена на бесконечном перечислении деталей — предметов спящего мира.

Джон Донн уснул. Уснуло все вокруг.
Уснули стены, пол, постель, картины,
уснули стол, ковры, засовы, крюк,
весь гардероб, буфет, свеча, гардины...

И так — многие десятки строк. Картина расширяется — спит вся подробно детализированная природа, спит Божье воинство, спят стихотворные размеры... Но и здесь торжествует принцип все убыстряющегося потока, захватывающего, уносящего с собой читателя, вместе с этим стиховым потоком прорывающегося в иное качество восприятия мира — в утопическое пространство, где нет смерти...

Эти стремительные и обширные стиховые потоки нужны были молодому Бродскому как противовес статике, олицетворяемой смертью.

Позже — в 1968 году — он использовал этот прием в гигантской эпитафии «Памяти Т. Б.» и в «Горбунове и Горчакове» — горестной истории умирания человеческой души от чудовищной несвободы. В «Горбунове и Горчакове» неизбывному ужасу сумасшедшего дома, в который заключены герои, противостоит звездный мир — этот идеал высокой свободы.

Основная часть значительных по размеру произведений Бродского была написана в России. Именно здесь, где метафизическая драма жизни неизбежно насыщалась чисто бытовой низкой угрозой, наступлением злобной пошлости, ему необходим был как способ защиты этот яростный интонационный напор, это шквал предметов, который он швырял в лицо враждебному миру.

Крупные вещи, написанные после эмиграции, — например, «Новый Жюль Верн», «Строфы», «Муха»,

«Тритон», — существенно отличаются от собственно «больших стихотворений», жанра, созданного самим Бродским.

Но именно из вещей этого жанра он выстроил за пятилетие — с 1963 по 1968 год — грандиозную эпопею.

Эпопея состоит из пяти «больших стихотворений» — «Большая элегия Джону Донну», «Исаак и Авраам», незавершенная, а вернее, не отделанная «Столетняя война...», «Пришла зима...» и, наконец, «Горбунов и Горчаков». Неким прологом можно считать «Зофью». Тысячи строк эпопеи объединены общей метрикой, общим метафорическим рядом, общими структурными приемами, но главное — имеют общий религиозно-философский фундамент. Магистральный смысл — отчаянная попытка найти выход из дисгармоничности мира, из тленности мира, из беззащитности человека. Бродский выстраивает свою «еретическую» утопию бессмертия, восходящую к робким представлениям его предшественников — к финалу гениального лермонтовского «Выхожу один я на дорогу», строки из которого были одним из ведущих мотивов «Горбунова и Горчакова». Он предлагает читателю величественную картину «блаженной страны», главные признаки которой были сформулированы еще Языковым:

Там, за далью непогоды,
Есть блаженная страна;
Не темнеют неба своды,
Не проходит тишина.

Путь в эту страну, где время неподвижно и, стало быть, нет смерти, Бродский описал еще в «Ручье», а затем уверенно повторил в «Исааке и Аврааме», в «Большой элегии». И описал крушение этой утопии в «Горбунове и Горчакове».

Пожалуй, никто из русских поэтов не ощущал с такой остротой несправедливость и дисгармоничность

мироустройства, даже Лермонтов. И Бродский сделал героическую попытку создать иной мир в своей поэзии. И поскольку он был демиургом, творцом мира, на этом поприще ему необходимы были простор, стремительность и дерзость мысли, свойственные ересиархам.

Жанр «больших стихотворений» и стал для него материалом, из которого он выстроил фундамент для уходящего в беспредельную высь здания своей поэзии.

Яков Гордин

По соглашению с Фондом Наследственного Имущества Иосифа Бродского издательство доводит до сведения читателей, что нижеперечисленные произведения, опубликованные в данном издании, сам Иосиф Бродский не включал в состав своих книг, выходящих в США, не считая их достаточно зрелыми, хотя и разрешал публиковать в российских изданиях. Впервые он сделал соответствующее заявление в 1965 г. Это относится к следующим произведениям:

Гость. *(Поэма)*
Петербургский роман. *(Поэма в трех частях)*
Шествие. *Поэма-мистерия*
Зофья. *(Поэма)*
Полевая эклога («Стрекоза задевает волну...»)
Прощальная ода («Ночь встает на колени перед лесной стеною...»)
«Пришла зима, и все, кто мог лететь...»
Феликс («Дитя любви, он знает толк в любви...»)

СОДЕРЖАНИЕ

Литературно-художественное издание

ИОСИФ БРОДСКИЙ
РАЗГОВОР С НЕБОЖИТЕЛЕМ

Ответственная за выпуск Наталия Соколовская
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Ирина Каряева
Корректоры Ирина Киселева, Алевтина Борисенкова
Верстка Антона Вальского

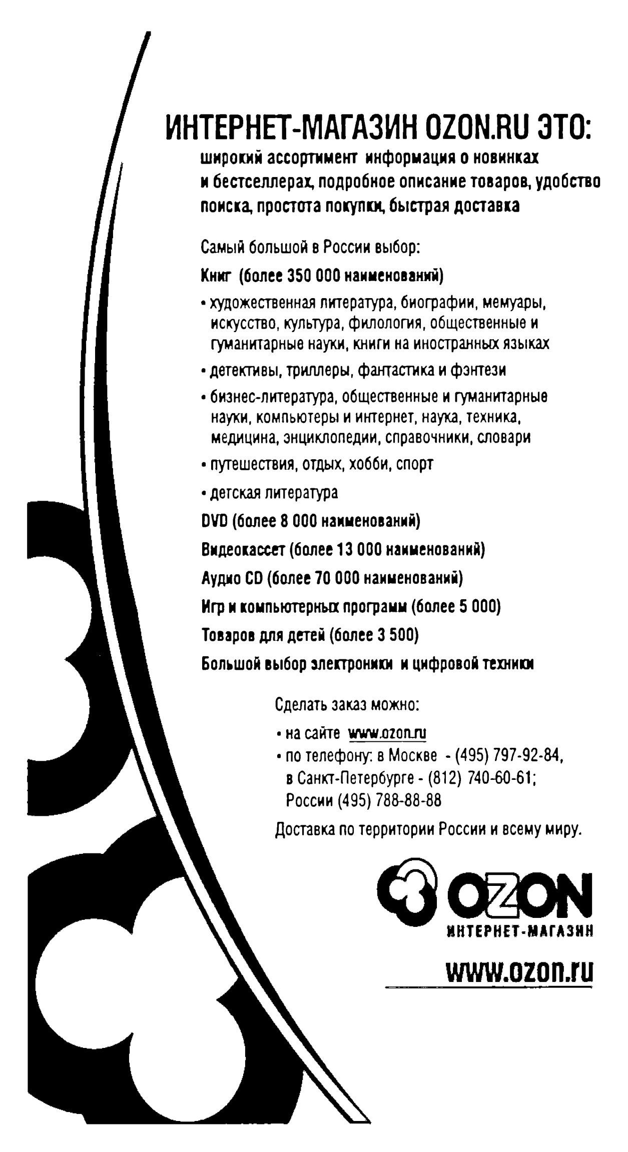
Директор издательства
Максим Крютченко

Подписано в печать 26 12 2006.
Формат издания 76×100 1/32. Печать офсетная.
Гарнитура «Академическая». Тираж 5000 экз.
Усл. печ. л. 19,74. Изд. № 12. Заказ № 4245.

Издательство «Азбука-классика».
196105, Санкт-Петербург, а/я 192.
www.azbooka.ru

Отпечатано в ОАО ордена Трудового Красного Знамени
«Чеховский полиграфический комбинат»
142300, г. Чехов Московской области.
Тел./факс. (501) 443-92-17, (272) 6-25-36
E-mail: marketing@chpk.ru





ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ КНИГ ИЗДАТЕЛЬСТВА «АЗБУКА» ОБРАЩАТЬСЯ:

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Украина: *ООО «Азбука-Украина», 04073 г. Киев Московский пр., 6 (2 этаж, офис 19) тел. (+38044) 490-35-67; sale@azbooka.net*

Израиль: *«Спутник», P.O.B. 2462, Kefar-Sava, Israel, тел.+972-9-767-99-96, dob@sputnik-books.com*

Германия: *Каталог «Аврора», официальный представитель издательства «Азбука», Франкфурт-на-Майне тел. (069) 37564252; avrora-katalog@yandex.ru*

Уважаемые читатели!

Приглашаем вас посетить интернет-сайт издательства «АЗБУКА» по адресу

www.azbooka.ru

На нашем сайте вы найдете каталог книг издательства, информацию о новинках и планах на будущее, отрывки из новых книг и многое другое.
Здесь можно задать интересующие вас вопросы и высказать свои пожелания.
На сайте вы также найдете ссылки на интернет-магазины, торгующие книгами издательства «Азбука».

Ждем вас круглосуточно, каждый день!

КНИГА — ПОЧТОЙ

ЗАО «Ареал», СПб., 192242, а/я 300
тел.: (812) 774-40-63; www.areal.com.ru;
e-mail: postbook@areal.com.ru

АЗБУКА-КЛАССИКА

Иосиф Бродский, пятый Нобелевский лауреат в русской литературе (после Бунина, Пастернака, Шолохова и Солженицына), принес в литературу не только новое духовное содержание, но и новую форму. Жанр «больших стихотворений», доминирующий в данной книге, создан Бродским. «Большие стихотворения» и поэмы живут по законам потока – недаром поэт назвал язык «великой рекой». Мощное, стремительное движение стиха захватывает читателя и погружает его в непреодолимую стихию поэзии. В книге собраны все крупные произведения поэта, которые он завещал публиковать.



Иосиф
БРОДСКИЙ
1940 – 1996






ISBN 5-352-00012-5
9 785352 000120

В оформлении обложки
использован эскиз
Ж. О. Д. Энгра

www.azbooka.ru